

АНАТОЛИЙ БАЙБОРОДИН

СИБИРИАДА

ОЗЕРНОЕ ЧУДО



Сибиряда. Лауреаты премии им. В. Г. Распутина

Анатолий Байбородин
Озерное чудо (сборник)

«ВЕЧЕ»

2018

Байбородин А. Г.

Озерное чудо (сборник) / А. Г. Байбородин — «ВЕЧЕ»,
2018 — (Сибириада. Лауреаты премии им. В. Г. Распутина)

ISBN 978-5-4484-7546-7

Книгу известного сибирского писателя Анатолия Байбородина открывает повесть «Утоли мои печали», в которой запечатлена судьба забайкальского рода: семейные обычаи, любовь и нелюбовь, грехи и немочи, надежда на спасение. Повесть «Горечь» – столкновение двух миров: мира глухomanного рыбацкого села второй половины XX века, где чудом выжили исконные нравственные устои, и мира городской художественной богемы, пронизанного «философским» цинизмом и нигилизмом. Повесть «Белая степь» – о юношеской любви русского паренька из староверческого рода и девушки из древнего бурятского рода Хори в забайкальских землях, где с народной мудростью и природной красотой, в братчинной дружбе жили русские рыбаки да таёжники и буряты – чабаны да охотники.

ISBN 978-5-4484-7546-7

© Байбородин А. Г., 2018

© ВЕЧЕ, 2018

Содержание

Повести	7
Утоли мои печали	7
Часть первая	7
I	7
II	9
III	10
IV	11
V	13
VI	14
VII	16
VIII	18
IX	21
X	23
XI	24
XII	26
XIII	28
XIV	30
XV	32
XVI	33
XVII	34
XVIII	36
XIX	38
XX	40
XXI	41
XXII	43
XXIII	45
XXIV	47
XXV	48
XXVI	50
Часть вторая	52
I	52
II	53
III	55
IV	56
V	57
VI	59
VII	60
VIII	62
IX	63
X	65
XI	66
XII	68
XIII	69
XIV	70
XV	73
XVI	74

XVII	75
XVIII	77
Конец ознакомительного фрагмента.	79

Анатолий Григорьевич Байбородин

Озёрное чудо

© Байбородин А.Г., 2018

© ООО «Издательство «Вече», 2018

© ООО «Издательство «Вече», электронная версия, 2018

Сайт издательства www.veche.ru

Повести

Утоли мои печали

Дочерям Алене и Маше

Иисус, призвав дитя, поставил его посреди них. И сказал: истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царствие Небесное.

Евангелие от Матфея, 1–3

Часть первая

Счастье – дождь и ненастье

Ивану Краснобаеву чудилось, душа его, Христом Богом дарованная, сродни материной, не отцовской; и когда поминал мать, Царствие ей Небесное, то перед скорбно освещенным, далеко видящим взглядом зорево, полуденно и закатно оживал таежный кордон на реке Уде, где отец лесничал о ту пору. И приоблазнилось ...ясно он помнить не мог семи лет отроду... привиделось отстраненным от себя взором, словно узрелось с небес, как страдал с сестрой Верой и матерью о Великом посте, бедовал посреди робко оживающей внешней тайги. Помнится, на Вербное воскресенье заморосил первый апрельский дождь и мать улыбнулась: мол, вот оно наше счастье – дождь и ненастье.

I

Отец, и вплавь, и вброд пройдя фронтовые и житейские огни и воды, перебравший на своем хмельном веку уйму деревенских ремесел, устал от жизни и, чтобы отдышаться, подался в лесники на удинский кордон, куда укочевала и семья. Деревенскую избу оставили сыну Илье, успевшему отслужить на Северном флоте, выучиться на ветеринара, а потом и жениться на швее Фасе, шалым ветром занесенной в забайкальскую степь с неведомых ангарских берегов. К Илье притулилась и сестра Танька, два лета назад отданная в ученье.

Забываясь в азартных летних и осенних заботах-хлопотах, морозной и оттепельной порой отец все же тосковал по деревне, мужикам и веселому застолию, рвался из тайги на люди; и вот за седмицу до ручистого и пушистого Вербного воскресенья и Страстной недели суетливо запряг Гнедуху и, с натугой прижимая в себе прущую наружу радость, огибая мать, Ванюшку и Веру повинным взглядом, торопливо накидал сена в телегу, примял и укрыл войлочной попоной. В передок приторочил переметную кожаную суму с ошипанными, потрошенными и копченными на холодном дыму косачами¹ – гостинцы Илье, Таньке и Шуре, старшей дочери, что жила на озерном займище с промысловым рыбаком Фелоном.

Вешние оповестники – косачи, прилетели до Благовещенья, до срока приплавив на крыльях оттепель; да так страстно затоковали, справляя зоревые свадьбы, что отец сломя голову кинулся искать петли. На токовище, в ровной и чистой ложбине, поросшей реденьким молодым листвяком, устланной тепло-бурой хвоей, по юрким косачиным тропам отец настропал петли, ссученные из крашенного под хвою конского волоса и на зорьках приносил пару,

¹ Косач – тетерев.

а то и тройку косачей. Однажды подивил Ванюшку, но перепугал пятилетнюю Веру – приволок косача-подранка, и тот, распушив радужный хвост, колошматя в половицы крылами, завертелся, запрыгал в горнице. Вера от испуга закатилась в реве, забилась словно в родимчике, и мать, подхватив девчушку на руки, осерчало крикнула отцу, чтобы унес птицу от греха подальше, не мучил ее и не пугал ребенка.

На токовище, что виделось из лесничьей избы, отец выгородил еловым лапником глухой скрадок, навроде птичьего гнездовища, с бойничкой для тозовки². Зябкой зарей – на сухих ковылях еще искрился иней, а небо лишь на солновсходном краю рассвело – убрели отец с сыном на ток и притаились в скрадке. Всплыло над черными листвяничными вершинами багровое солнце, нежарко и неярко оживило хмурый лес, и вдруг прямо из светила, из вспыхнувшего зарева, со свистящим гулким шумом слетели на токовище вешние птицы. Мудрый косач, дозорно усевшись на сухую листвяничную вершину, озирает утренний лог, а молодые косачи забежали подле игривых тетерок, форсисто распуская хвосты, топорща крылья и затейливо приплясывая, так жарко и томно забормотали, зашептали на все лады любовные веснянки, что у отца затряслись руки. Он водил тозовкой, ловя на мушку то одну, то другую птицу, но те хороводились, не замирая даже на миг, и отец стал выцеливать косача-верховода. Дуло ходило ходуном в трясках руках... пуля звенькнула, продырявила алую зарю, косач тревожно вскрикнул, и птицы, оглушительно хлопая крыльями, с разбега взлетели и тихо стояли в сумрачном лесу.

Больше отец тозовку не брал на ток, добывал птицу конскими петлями.

– Косачей-то, Петро, друзьям не раздавай, – просила мать. – Пусть наши попробуют. А то я тебя знаю, шары зальешь винищем, – все раздашь.

– Я, мать, когда чо раздавал?! – домовито и раздраженно отозвался отец, поправляя сбрую на кобыле. – Я ежели чо кому суну, дак тех же отрубей чушкам добуду. Да...

– Ванюха! – кликнул он сына, в остатний раз оглядывая телегу. – Завтра сбегай, петли проверь.

– Н-но, – проворчала мать. – Кого посылашь?! Проверит он...

– А чо, уже большой...

– Ага, большой... Ладно, езжай. Сходим вместе, поглядим.

Отец собрался в деревню получить христорадную милостыню – лесниково жалованье и запастись харчами, потому что в казенке, где в сусеках хранили съестные припасы, и мышам-то нечем было харчеваться. Ушли возмущенные – нет худа без добра... Мать уже ширкала долбленным осиновым совком по днищу мучного ларя, наскребая жменями муку, чтобы замесить тесто на хлеб и пресные лепешки.

– Ой! – всполошилась мать. – Чуть не забыла с этой колготней...

Вынесла завернутую в холстину вяленую сохатину да четыре пары овечьих носок, связанных тянучими метельными вечерами, и уложила все в телегу под сено.

– Не потеряй, отец... Тут как раз всем носки: Илье с молодухой, Шуре, Тане. Которые осенью вязала, теперь уж, поди, в труху сносили, а еще холода нагрянут.

Отец растащил тесовые крылья ворот, сел в телегу и, подобрав вожжи, глянул с довременной виной и раскаяньем на мать и ребятишек, сиротливо жмущихся друг к другу.

– Не забудь, Петро, аржаную муку будешь брать и белой прихвати, – кулич пекчи к Пасхе... Да смотри, отец, не загуляй в деревне, а то вся зарплата улетит кобыле под хвост. А у нас муки, соли да чая – кот наплакал. День-два – и можно зубы класть на полку, неча будет кусать.

– Не, не, не!.. Ты, Аксинья, даже и не переживай, я – мухой, одна нога там, друга здесь. Може, седни зарплату получу, харчишек запасу и назад...

² Тозовка – малокалиберная винтовка.

По тому, как запальчиво божился и сулился отец, – себя уверял, домочадцев обнадеживал, – при этом не глядя в материны глаза, блудя лукавым и виноватым взглядом по двору, мать обреченно поняла: загуляет во всю ивановскую, и об одном лишь молила безгласо, чтоб вся зарплата не улетела в ненажорную глотку, чтоб скорей выгулялся.

– Взял бы сюда бутылочку, Петро, вот и Благовещение бы отвели, а там и Пасха... – даже без малой надежды советовала мать.

Отец выудил из черного галифе засаленный кисет, скрутил самокрутку и, пыхнув махорочным дымом, вздохнул тяжело:

– Ладно, поехал я... За скотиной присматривайте. Корова со дня на день должна отелиться, глаз да глаз нужен... Сено шибко не жалеите – до зеленей хватит. А можно уже по теплу и на пажить выгонять, на подножный корм...

– Ну, с Богом, Петро. Присядем на дорожку. Ваня, Вера, садитесь на крылечко.

Отец тряхнул вожжами, азартно чмокнул, понукнул Гнедуху, и телега, щедро смазанная дегтем, мягко покатила со двора. Вышла за ворота и мать с ребятишками, долго глядела вслед отцу и будто не плакала, но из молчаливых, как морошное преддождевое небо, моргающих глаз катились слезы.

II

На Благовещение весна – молодница-медведица – переборола зиму-каргу; та весну стылым ветродуем, утренними заморозками пугает, а сама тает, каплями плачет. Рано зажглись снега, заиграли овражки... Вешнее солнышко воскрешало от зимней, омертвелой спячки быгающую тайгу, что с трех боков обжимала лесничью избу. Со дня на день зеленое марево нежно окутает лес, укроется сиротская голь робкой хвоей и листвой, и заполошные птицы заголосят на утренних зорях любовные песни. А пока оживающая тайга играла сиреневыми всполохами цветущего багула, да вдоль речки пушилась белая верба.

– На вербе пушок – весна на шесток, – улыбалась мать ребятишкам. – Зимушку пережили, слава Те Господи...

В темных распадках по ручьям еще белел старый ноздреватый снег, а на жарких солнопеках уже пробилась щетинкой зеленая мурава, и Ванюшка с Верой, собирая по изножью хребта сучки на дрова, радовались вешним зеленым, как радуются полугодовалые телята, впервые пущенные на вольный выпас. А мать, приметливая, умудренная, по каплям и ключам, по травинкам-былинкам, по птичьему клекоту и граю высматривала, выслушивала из апреля лето с покосами, картошкой, ягодой, грибами. Трижды – испыткок – не убыток – пробрызнул дождь и мать вслух подумала:

– Ежели в мае еще дождь польет земельку, вот и лето ладное выйдет. И на столе, Бог даст, будет густо, не пусто.

После полудня ослепительно сверкала ледяная река, а вечерними затишками долетал ревучий шум, – диковиная шука-зубатка колола лед могучим хвостом. Но хоть и отсвистела птичка-веснянка – «покинь сани!.. возьми воз!..» – хоть и кряковые селезни уже принесли к Благовещенью благую весть о тепле, весна въезжала на пегой кобыле: то солнышко припечет, и закаплет с ледяных титек, повисших на дранёвой крыше, то вдруг с речки подует сивер и пробросит крупяной снежок.

– Мам, мам!.. а медведица с медвежатами проснулась? – пытал Ванюшка. – Вылезла из берлоги?

– Нет, сына... пока талый снег бока не промочит, медведь не вскочит. Не было еще путевого тепла... Но, поди, со дня на день прoderет хозяйнушко глаза... а за ним и медведица с медвежатами. Пойдут шукать Божьи пазушки, где ранняя черемша проклонется. Самый корм медвежий... А тебе почо это знать?

Ванюшка замялся, а Вера выдала секрет:

– А он, мама, хочет с медведжатами поиграть. Папка ему про берлогу сказал...

– О господи! – с перепугу перекрестилась мать. – Чего удумал... Медведица за своих медвежат любого задавит. Да и голодные подымутся, злые... Не дай бог... Чтоб у меня в лес ни шагу!.. Я, однако, зря и скотину-то выпустила...

Ванюшка согласился, что оголодавший внешний медведь шибко злой, и прибавил:

– Чо уж там медведь, бурундуки злые, ежели их разорять. Папка прошлое лето шишки бил, подходит к кедрине, видит, бурундук на ветке сидит. Шишку оторвет и кинет в мох, а сам присматривает, куда упала, чтоб потом собрать. Вот бросил он шишку, а папка ее в свой мешок. Бурундук удивился, кинул другую – папка ее опять в мешок, но-о тут он разозлился да ка-ак бросится на папку!..

– Ох, баюнок ты мой, баешник, – умилилась мать, глядя по большой, налысо стриженной Ванюшкиной голове. – Ишь как ловко баешь, чисто кока³ Ваня твой.

Трава ожила лишь на солнопеках, но мать не утерпела, выпустила на волю истомленных в душной и темной стае корову Майку и телку с буруном, и велела ребятишкам присматривать, заворачивать, ежели в тайгу шатнутся.

Сама же все глаза проглядела в отпотелое окошко, глядя на заречный хребет, откуда проселок спускался к реке, – пятый день минул, канун Благовещенья приступил, от папашингулевана ни слуху ни духу. Жив ли, здоров ли, изводилась мать, не ввязался ли спьяну в драку, – мужик в деревне ныне хмельной, отчаянный. Не ровен час... А и запасишки последние иссякли... Да еще и лед на Уде тронулся; отревел на ледоломе и пошел шугой, отчего мать вырешила: к щедрым травам, но и к разливу полых вод. Матери опять переживание: как отец обратно попадет, ежели берега затопит? ...

III

На Благовещенье Пречистой Мати Марии пало той весной Вербное воскресенье, и мать вслух гадала: к добру ли, к худу ли слились два светлых праздника... но, поди, уж не к беде, – Христовы дни. И надо бы душу Великим постом утихомирить... грядут и Страсти Христовы, ране о Страстной седмице лишь хлеб да вода, вот и вся еда... но здесь, в тайге, мать постилась духом, а не брюхом, да и как не оскоромиться, ежели в доме одно скоромное, – вяленая, с душком сохатина, соленая рыба да скотский жир; капусту не солили нынче, какая была картошка, и та задрябла в теплом подполе, забородателя бледными ростами. Словом, из постного даже постного масла уж полмесяца в глаза не видели.

Про посты, исповедь и причастие помнила мать смутно – сорок лет минуло, как тятя мокроносой девчушкой вывез ее в бурятские степи и леса с Красного Чикоя, где гуртились забайкальские староверы, прозываемые семейскими или поляками, ибо по велению царицы Екатерины переселили материн род с тогдашних польских земель. Шатнувшись от семейщины, запамятав, какого они толка и согласия, родова матерна обмирщилась и, крестясь то по-семейски двумя суровыми перстами, то шепотью, прислонила было к единоверцам, – в волостном селе Укыр о ту пору еще тешил боголюбивые души колокольный звон Спасской церкви, – но тут на художестве русские головы свалились мутные, кровавые антихристовы времена, и фармазоны порушили волостной храм, а заодно и сельские церквушки. Остались матери на весь век лишь ночные и зоревые молитвы да образа от тятеньки и маменьки и самая заветная в позеленевшем медном окладе – икона Божией Матери «Утоли моя печали».

В Лазареву субботу, накануне Вербного воскресенья, мать смела с углов тенёты, протерла маменькины, тятенькины образа, подмазала глиной и подбелила печь; потом принесла с Уды

³ Кока – крестный отец.

пук вербы и ведерко дресвы – речного песочка, просеяла его ситом, пережгла в русской печи докрасна, а уж после, усыпав им широкие половицы, вышпоркала их веничком-голячком, смыла горячей водой, и пасхально заиграли сосновые плахи, обнажили нежную древесную желтизну. Помолвившись, нашарила мать в русской печи остывший уголь и намазала обережные кресты на оконных косяках и дверных колодах в избе и стайках, чтобы откреститься от нежити, – лютуют бесы, бесятся накануне святых дней, вроде зимы-карги в вешний месяц зимобор.

Присела отдохнуть, помянула тятю своего, мамушку, узрела себя малую, да и заговорила не то сама с собой, не то с Ванюшкой, что терся подле, голодно принохиваясь к жаркой печи:

– Боялись мы Боженку... Это мне, однако, лет пять было, мешаю молоко – топится в печке. Я молоко помешала ложкой, и эту ложку раз и облизала. А постный день был... Я за печку забежала, да на Божушка-то⁴ гляжу и думаю: может, Божушка-то мене не видел, что я ложку лизала. Давай подолом язык обтирать...

Промытая изба, хотя и не вынули посеревшие от пыли зимние окна, вздохнула по-апрельски свежо и так нарядно, празднично засветилась, что Ванюшка с Верой тут же завели игры, из сыромятных мешочков высыпали на луково светящийся пол крашенные бараньи лодыжки. Ванюшка, парень сметливый, махом обогорил малую сестру – выиграл все ее кости, и Вера, уливаясь слезами, пошла жаловаться матери.

– Мама... он у меня все ладыжки забрал... Пускай отдаст.

– Отдай, Ванька! – велела мать. – Не дразни девку.

– Ага, отдай!.. – загорячился Ванюшка. – Я выиграл, вот-ка. Не отдам.

Сестра заревела лихоматом, а мать в сердцах крикнула из кути в горницу:

– Отдай сейчас же, паразит! Не выводил меня...

– Я выиграл... – захныкал и обиженный Ванюшка.

– Выиграл, выиграл... – передразнила мать. – Мог бы и поддастся, проиграть, – она маленькая.

– Ага, маленькая... Только ее жалеешь... Убегу я от вас в деревню к Илье с молодой... к Таньке. Живите тут без меня... – Ванюшка, уливаясь мстительными слезами, быстро обул сыромятные ичижонки, накинул овчинную шубейку и вылетел во двор.

Но... слезы детские, что ночная летняя роса, – высунуло солнышко из-за хребта свой теплый лик, высушило сырость... и вскоре Ванюшка с Верой, мирно приладившись на полу, разложив старенькие тетрадки и огрызки цветных карандашей, малевали картинки. Вера, почти не глядя на бумагу, размашисто чертила пучеглазых и лохматых див на кривых и сучкастых ногах, – это, по ее мнению, были и мать, и отец, и Ванька, и корова, и даже лайка Найда. Ванюшка же – косясь на картинки, развешанные отцом по голым венцам сруба, где озирали степь три дозорных богатыря, заливали байки три охотника, играли на поваленной лесине три медвежонка, – старательно рисовал, потом раскрашивал медведя, которому талая вода подмочила бок и он с ревом полез из берлоги.

IV

Ближе к закату мать начесала с лиственничного пня багрового смолья, жарко протопила русскую печь и подле шестка намыла в корыте ребятишек, окатывая речной водицей, кою принесла до зари, когда ворон воронят не купал, – деды баяли, мол, эдакая вода моченьки добавляет. Ванюшка, стоя в корыте, тут же изогнул в локте ручонку, где ожил бугорок мышцы.

– Мам!.. глянь, какая у меня сила. В деревне всех заборую.

– Забороешь, забороешь... – кивнула мать, поливая сына из деревянного черпака. – С гуськи вода, с Вани худоба.

⁴ Божушка – так семейские ласково величали и Господа Иисуса Христа, и сами иконы с Его ликом.

Укутав парнишку в старенький далембовый халат, турнув его в горницу на топчан, с теми же приговорами взялась купать Веру.

– С гуськи вода, с Веры худоба...

Уложив ребятишек ночевать, прикрыла печную вьюшку, чтобы небушко не топить, избу не студить, помолвившись, прилегла на лавку подле самовара. Улыбнулась, засыпая: завтра Благовещение и Вербное воскресенье, Христа Бога прославим, поклонимся, что не по грехам нашим милостив Богом. И лишь укуталась мать сном, приблизились дивные птицы, – не то косачи, не то глухарки, но с человеческими лицами... а может, райские птицы с ясноглазыми и ласковыми ангельскими ликами?... потом незримый в избяной теми тронул за плечо и – голос, напоминающий говор Вани Житихина, брата:

– Чего же ты, Аксинья, разлеживаешься?! Детки твои помирают...

Ветром смахнуло мать с лавки; запалила жирник, – керосин еще при отце весь вышел, – кинулась к ребятишкам, стала их тормошить, а те и впрямь будто неживые, бездыханные. Тут и учуяла мать угар – красным листовничным смолем протопила печь и с жаром закрыла. Заполюшно выдернув до отказа печную вьюшку, отпахнула настежь двери в избу и сени, а уж потом и Веру с Ванюшкой, плетью висющих на руках, поочередно выволокла на крыльцо. И откачивала на стылом апрельском ветру, и обрызгивала студеной водой, а все без проку. Растерялась мать... В деревне хоть соседи: ежели и не побежишь за подмогой, то чуешь их, надеешься, и легче справляться с лихом, а тут кругом тайга глухая... И взмолилась мать запальчивой молитвой, вроде и неведомой ей, но, может, слышанной в малолетстве от маменьки-покоенки:

– Владыко Вседержителю, врачу душ и телес, смирай и возносяй, наказуй и паки исцеляй! Чад моих, Ивана, Веру, немощствующа посети милостию Твоею: простри мышцу Твою исполнену исцеления и врачбы, исцели чад моих, возставляй от одра и немощи... Ей, Господи, пощади создания Твои во Христе Иисусе Господе нашем!..

Печально шумели в ночном ясном небе вершины древних сосен и листовней; изредко в хребте лаяли полуночные гураны⁵; стыло и отчужденно мерцал Млечный Путь – гусиная тропа, по которой уплывали ребячьи ангельские души... Но... услышал Владыко Милостивый материны мольбы, и словно рек душам: мол, рано, дети Мои... Не исполнилось ваше земное назначение..., и отпустил их на земь. Очнулись, горемычные, ведом не ведая, где бродили и как очутились под звездным небом; мать тут же на крыльце напоила их брусничным морсом, потом, притулив к себе Ванюшку, взяв на руки малую, стала баюкать:

Баю-баю, баючок,
В огороде хмельничок,
Зайка хмелю нащипал,
Во лесочек побежал.
Зайка пива наварил,
Всех девчат напоил.
Девки песенки поют,
Вере спать не дают.
Уж мы зайньку найдем,
Долги уши надерем.

⁵ Гуран – дикий таяжный козел.

V

Скучно оживало таежное Вербное воскресенье, верша Цветную неделю. Вяло и неохотно заголубели двойные зимние окна, смотрящие в серый, еще очарованный сном, ирниковый распадок, освещая унылым светом лесниково убожество: нетесаные венцы с рыжими куделями мха; лопатистые изюбриные рога; козлоногий стол с рацией, омертвелой без папани; ходовые картинки и вышивки гладью и крестиком, – сестрица Аленушка с братцем козленочком да серый волк с царевной и царевичем; вольный топчан около печки, укрытый овичинной дохой, где в тяжком забытье, спинав в ноги ватное одеяло, разметались уснувшие под утро ребятишки, бессвязно и тревожно бормоча, обиженно всхлипывая, будто напрасно матушка вымолила их в печальный мир из ласковой вечности.

С утра вдруг заморосил первый апрельский дождь, и мать печально улыбнулась:
– Вот оно наше счастье – дождь и ненастье.

За ночь не сомкнувшая глаз – день во грехах, ночь во слезах – перестрадав до полного опустошения, широко и бездумно, немигающе глядела в окно, на заудинский хребет. Но отца не высматривала. Вся ее моченька страдать, надеяться, ждать за ночь иссякла, не осталось в заначке даже зла на отца, загулявшего в деревне. Луканька окаянный, что пасется по лево плечо, словно прошептал за мать: «Ох, упасть бы и уснуть вечным сном, а тут пропади все пропадом, гори синим полымем...» Но хранитель, что пасет по право плечо, напомнил своим голосом: «Хворать-то некогда, Аксиныя, не то что помирать, – пора коровенке с буром и телкой сенца кинуть, напоить скотину; пора иманов выгонять из козьей стаюшки, – пусть пощиплют мураву на хребте, по солнотечным облыскам; пора и курам зерна бросить, а там и ребятишки подымутся, исть запросят, – галчатами в гнездовище отпахнут прожорливые клювы. Так что, Аксиныя, некогда помирать...»

Оплескав лицо жгучей, ледянистой водой, смывая усталость и уныние, мать потуже заколола волосы гребенкой, покрыла их козьим полушалком и, осененная покаянным крестом, виновато глядя на божницу, – в утреннем сумраке светились лишь очи Спаса, Владычицы Небесной и Николы-угодника. Поклонилась земно, шоркнула изработанной, скрюченной рукой половицы, благодаря: не покарал Господь Милостивый за грехи тяжкие, не отнял чадушек... «Ох, мамочки родны! – жиденько, дробно хихикнул окаянный в лево ухо. – Да какие у тебя грехи, деревня битая... да еще и тяжкие?! Помыслы с отчаянья да поносные слова отцу-гулевану, и то позаочь. Вон какие изверги в смертных грехах купаются словно в теплом корыте, на Бога ропщут, и никакая холера им не деется, как сыр в масле катаются... Грехи у нее... Не смей... Кому масленка да сплошная, а тебе, Ксюша, Вербное да Страстная...» Но поперечный голос, что с права плеча, тихо, да внятно промолвил: «Не в земной юдоли человекам за грехи отвечать, на праведж вставать, – в Царствии Небесном, куда навечно укочует и твоя душа... Терпи, Аксиныюшка, и Господь не оставит...»

После молитвы, как после кроткого и короткого, птичьего-синичьего сна, явились силы и обреченный, безропотный покой. Надо жить... Майка со дня на день отелится, стайку бы на Чистый четверг богородичной травкой окурить от лукавой нечисти...

Обрядив скотину, по старому свычаю охлестав ее вербой, перекинула через плечо коромысло и побрела к Уде, куда с ребятишками моталась утрами и вечерами, карауля отца. Тут она чуть было не помянула шатуна лихом, но окстилась: вербный праздничек, грех браниться.

Утренний дождь иссяк – ветер-верховик ближе к полудню растащил серую мглу, и умытое небо сочно заголубело. Ох, как радостно и буйно опушилась верба! – диву далась мать. – Белым-бело... Доброе грядет лето: травостой и покос ранний... Но и к половодью, видно... Подумав, тронулась не прямой тропой сквозь заросли ирника к дощатым мосткам, с коих летом брали воду, а наезженной дорогой к броду: глянуть надо, что натворило половодье за ночь.

То, что река вздулась и прибывала, мать уже видела, но, услышав гневливый рев Уды, упершись задолго до брода в полую воду, затопившую прибрежный вербник и черемушник, испуганно оторопела. Кинув коромысло с ведрами, беспамятно опустилась на сухом взгорке, полными слез, отчаянными глазами следя, как со змеиным шуршанием ползет по линиям осок полая вода. «Всё! – тоскливо покачала она головой. – Ежели обернется ныне отец ...выгулялся, поди, вспомнил, что ребятишки тут голодом-холодом сидят... так теперь не конем, не пёхом не перебраться. Вот закукуем...» Приподнявшись, сквозь черемушник с ужасом высмотрела: кипя ярыми, белыми бурунами, гневно клокоча, несется Уда, потерявшая берега, словно табун белых и серых, одичавших коней. И взвыла мать, забыв про светлый праздник: «Боже!.. Боже!.. да за какие грехи мне такая казнь Господня?! Аль я не рожена, не крещена, аль я чужой век заела?! Чем же я тебя, Господи, прогневила?!» Но опять увещающий голос справа: «Грех, Аксиньюшка, роптать. У людей хуже бывает, и то не ропшут. Грех тебе жаловаться: дети, слава Те Господи, не пухнут с голоду; отец вот-вот обернется, харчишки привезет, и полая вода, Бог даст, спадет. Дает Бог и жиду, и злому татарину. Терпи, Аксиньюшка, все перемелется, мука будет...». Согласилась мать: «Дай-то Боже, чтоб все было гоже...»

VI

Ребятишки уже проснулись, когда мать вернулась с реки, и Ванюшка, сидя на овчине, поджав под себя ноги по-бурятски, хвастливо размахивая руками, вспоминал косачинную зорьку с отцом, привирая, будто стрелял с тозовки в дозорного косача. Вера слушала, разиня рот и пуча глаза в диве.

– ...Бабах!.. из ружья... и маленечко промазал. Отец под руку пихнул... Но счас пойду на ток петли проверять, тозовку прихвачу. Сниму касача-то. На Пасху сжарим...

– Божушки мой!.. охотничек... – засмеялась мать, с певучим позвоном выливая воду из ведер в кадушку. – Но сёдни, сына, грех птицу стрелять: Благовещение – птиц на волю отпущенье. Так от, Ванюха – драно ухо.

Мать, видя детишек здоровыми, веселыми, и сама отмякла, призабыв и про полую воду, и про отца.

– И робить-то грех. Ворон гнезда не вьет, девча косы не плетет. Одна непутная пряла шерсть на Благовещение, Божушка ее и проклянул, в кукушку обернул и гнезда лишил. Летат теперичи, бездомка, в чужи гнезда яйца кладет. Во как... А ты стрелять... Ой, упаси Бог отцову тозовку взять, – с ума сойдет, захлестнет. Так что и не вздумай...

– Ма-ама, ись хочу... – подала голос Вера. – Пирожка бы или шанюжки...

– Вот отец подъедет, будут вам и пироги, и шаньги, – сумрачно усмехнулась мать.

Затопила плиту – русскую печь, коль мука вышла стряпать, не разживляла – отмочив, чтобы лишняя соль отошла, сварила окуней – больше нечего, хоть шаром покати. Как ни растягивала, а приели подчистую и муку, и крупу, и лапшу, не говоря уж про сахар. Вялилось на вышке сохатиное мясо, но уже так выбыгало, пересохло, что сытнее и легче кирзовую голяшку жевать, чем перевяленное мясо. Да и обрыдло уже за зиму, в глотку не лезло... И коровенка-то, стельная, не доилась, – ребятишки, вздыхая, глотая слюну, смотрели голодными глазами на сепаратор, примощенный на полке у двери. Вспоминали: подоят, бывало, Майку, процедит мать через марлю парное молочко и, собрав по номерам воронки сепаратора, зальет вершащую его чашу, крутанет ручку и... под пчелиный гул диковинной машинки заструится с одного рожка сизоватый обрат, с другого – желтовато-белые сливки. Ванюшка с Верой, а летом и Танька, тут как тут со ржаными краяхами; плеснет им мать в плошку, – макайте, либо польет свежую голубицу, – ешьте, ребятушки-козлятушки, лакомясь, да больше не просите. Остальное в туюсок берестяной и в подпол на сметану, – отцу на покос, либо на заготовку дров.

Мать еще гоношилась возле печи, а ребяташки уже тихо посиживали на лавке, грустно поглядывали на выскобленную дожелта ножом-косарем, отмашистую столешницу. Выложила мать в мису разваренных окуней, налила запаренную вместо чая древесную чагу, затем, подумав, принесла из кладовки чашку раскисшей брусницы. Печально, с приступившими к глазам слезами оглядела праздничный стол – ни соли, ни сахара, ни корки хлеба, лишь три заплесневелых черных сухаря ... Вера завсхлипывала:

– Надоели солены окуни кажин день...

– А вот тятя ваш приедет... – ох, как зуделся язык прибавить соленое-перченое словцо, но сдержалась мать: не ребячьим ушам слушать, да и срам нынче лаяться – празднички великие: воскресенье Вербное, да и Пресвятой Деве Марии явилась ныне Благая Весть: радуйся, мол, Благодатная, Господа понесла...

– А чо папка не едет да не едет... – канючила Вера.

– Ты меня, девка, лучше не выводи, без тебя лихо!..

Мать не сдержалась, ожгла детей осерчалым взглядом, и те испуганно притаились, – мамка чикаться не станет, отвозит мокрым полотенцем и не поглядит, что Благовещение и Вербное воскресенье. Но мать снова, уже в который раз, спохватилась, виновато, с неуголимой любовью глянула на своих чадушек.

– Мало ли чо стряслось... Може, захворал, а може, дела какие...

– Седни должен подъехать, – степенно рассудил Ванюшка. – Гостинцы привезет. Права ладонь с утра чешется и чешется.

– Ой ти моя... – засмеялась мать. – Рука у его чешется... Ты у нас, как дед Кузя, конюх, тот всяким заморокам верит.

– Сапожки мне сулился привезти... Я же ему помогал на деляне сучки собирать...

– Привезе-от... – невесело улыбнулась мать, – вагон и маленьку тележку.

– А мне халвы привезет, вот-ка, – Вера, дразня брата, хвастливо зацокола языком, игрово закачала головой. – В жестяночке такой с картинкой... Я в нее потом буду куклины сарафаны складывать.

– Ох, голова моя непутевая да от лихоты кругом пошла, все позабыла, – спохватилась мать и вспомнила, что еще накануне, в среду крестопоклонной недели, в средокрестие, размочила жменю лапши, завела плошку теста и, подсластив сахарной пылью, что осела в швах льняного мешочка, испекла три креста. Принесла кресты из казенки, выложила на стол, и ребяташки радостно заелозили на лавке.

– Погодите, не торопитесь, торопыги, – сдержала их мать. – Надо все чин-чинарем, как и положено на Вербное воскресенье.

Жалобным шепотком отмолилась, потом, чтобы отпугнуть греховное унынье, потешить ребяташек, сняла с божницы освященную за ночь вербу, перевязанную цветастой вязочкой.

– Ну-ка, дети мои, открывайте рты поширше... – отщипнула вербные почки и скормила их Ванюшке с Верой.

– Фу, небраво... – малая сморщилась, на заплатку не выберешь.

– А мне дак сладко, – подразнил ее брат. – А это, мама, поче?

– А пото, чтоб не хворать да всяку напасть отогнать, – верба нынче свята... Счас я вас похлешу... Да не пужайтесь, не пужайтесь, – я же легонечко, что поглажу.

Мать охлопала себя пучком вербы, потом – сына с дочкой, распевно пришептывая:

Верба свята, верба свята!

Не я освящаю, Божушка освящает.

Верба – хлѣст, бьет да слез.

Верба синя бьет несильно,

Верба красна бьет напрасно,

Верба бела бьет за дело.
Верба – хлест, бьет до слез.

– Теперичи и вовсе никака холера не привяжется... Ну, можно и крестами отпотчеваться. Тихонечко жуйте: в одном кресте курино перышко, чтоб куры справно неслись, в другом – коровий волос, чтоб Майка ладом растелилась и задоилась, а в третьем... там мой волос, чтоб головушки не болели.

– Мам!.. мам!.. – заверещала Вера. – Мне перышко попалося.

– О, и ладно. Куры будут нёские, а как заклохчет какая, посадим на яйца, цыпок выведем. Будешь пшеном их кормить.

– Мама! – выпучил глаза Ванюшка. – А мне – рыжий волос Майкин...

– Но дак ты же у нас Иван-коровий сын. Не сёдни завтра отелится Майка. Будешь телка пасти... Ну, давайте, ешьте да на речку сбродим.

Скучно ество без хлеба и соли, и подсластиться нечем; поклевали ребятишки словно цыпушки распаренных окуней и несолоно хлебавши квело отвалились от стола. Поиграли на топчане бараными лодыжками, сморились, утомонились, тут и мать ...на Благовещение грех робить... прикорнула подле.

VII

Дольше спишь, дольше о еде не печалишься, купаешься в цветастых видениях, будто уже в ином вечном свете. Ребятишки просыпались, поворочаются с бока на бок, да и опять задремлют, притулившись к матери, – ослабли, бедные; и проснулось семейство аж на закате, когда солнышко уже клонилось ко сну, оплавив желтоватым, сомлевшим светом ершистую гребенку хребта. Вот и день пролетел, вот и отметили праздничек... Теперь бы повечерять с шанюжками и колотым сахаром вприкуску, да вот печка, что кусать неча.

Взявшись за руки, молча поплелись к реке через мглистую голь распадка, поросшего ирником и осинником. Близенько отошли, и тут остроглазый Ванюшка – накануне-то прямо как в воду глядел – высмотрел, что по заречной хребтине божьими коровками ползут к реке две конные повозки.

– Папка едет!.. папка едет! – распугав предзакатную глушь, оглашенно завопил парнишка и, прыгая, размахивая руками, еще и присказал на цыганский лад, подслушанное у балагуристаго папки. – Тятка идэ, черта видэ, мы его съидэ!..

И ...откуда силенки взялись... так припустил к реке, что засверкали смазанные дегтем подошвы сыромятных ичижонок, вспузырились вольные сатиновые шкеры и вздыбилась линиялая, заплатная шубейка. Следом ударились и Вера, но тут же и запалилась, захныкала.

С вершины повозки спустились неторопко, звонко натянутыми вожжами мужики сдерживали коней, чтоб не понесло, но ближе к изножью хребта припустили вожжи, и хлестко под горку срысил пегий жеребец, запряженный в начальственную рессорную бричку, где, вольно расшиперившись, восседал материн сродник Гоша Хуцан, – сомустился по хмельному азарту пострелять на Уде токующих косачей да пошукать в тайге глухарей. Следом за Гошиной бричкой пригромыхала и отцова телега, – поспешала краснобаевская Гнедуха, стосковалась в деревне по вольному таежному выпасу.

Ванюшка, ненасытно глядя во все глаза на отца и дядю Гошу, как бы слышал их разговоры... Разминая отекие ноги, чтобы мураши в землю ушли, мужики затоптались у реки, грозно вздувшейся, затопившей берега. Отец, сдвинув на индевелые брови полувоенную черную фурагу, озадаченно поскреб сивый затылок. В одичалом и голодном, как зверь, ревучем потоке даже не угадывался брод, рассекавший реку наискось по каменистому перекасту, где в сухие лета и воды-то было кочету по колено. Сели мужики на сухую и белесую, лоняшнюю

траву и, достав кисеты с махрой, свернули толстые самокрутки, задымили в постное, бесцветное небо, очарованно провожая взглядом стремительную речную течь. Крутя в воронках, пронесло торчащий вверх корнями и сучьями сухой сосновый выворотень.

– М-м-да, Петруха... – Гоша Хуцан зло сплюнул в сторону реки и замысловато матюгнулся, – едрит твою налево, сказала королева, кого я захотела... Счас, паря, в речку соваться – рыб кормить. Да... И чо я поперся, дурак, с тобой?! Талдычили же мужики, что Уда шалит...

– Дак знать бы где упать, соломки б подстелил.

– Тут стели не стели – реку нам не одолеть... Давай-ка, Петро, запалим костерок, для начала ужин сгоношим, зум⁶ грам примем.

– И то верно, – охотно согласился отец и присказал обычное. – Чтой-то стали ноги зябнуть, не пора ли, брат, дерябнуть.

– Давай, Петро, сушняк пошукай на костер, а я таган смастерю под котелок. Мяска заварганим...

Но отец уже не слушал Гошу Хуцана, – блуждающий взгляд узрел на другом берегу мать, скорбно темнеющую в тени разлапистого черемушника, к ногам ее сиротливо жались ребятишки. Отец поднялся, сошел к самой воде и громко, чтобы перекричать рев Уды, спросил:

– Ну, как вы там без меня?

– Тьфу! – сухо сплюнула мать, не совладав с досадой, терзающей и томящей душу. – Он еще и спрашивает... бесстыжие твои глаза!.. Тут ребятишки с голоду загинаются, а он, ирод, выгуляться не может...

То ли холодный ветер, слава Богу, остудил и унес поносные слова по стреженю реки, то ли уж отец пустил материну брань мимо ушей, но как ни в чем не бывало опять крикнул:

– Майка-то отелилась?

– Да-а, тебе, отец, хошь наплюй в глаза, все божья роса, – мать заплакала, и у ребятишек потекли слезы по щекам.

– Ты, Аксинья, не думай, что загулял. На рыбалку сбегал. Самый клев... Ладно наудил и продал выгодно... А потом лесхоз турнул на два дня в лес жерди рубить... на огорожу. Так что, ты не думай... Вчера вечером маленько с Гошей посидели...

– Этот идол окаянный кого хошь с пути собьет. Нету на него пропасти...

Гоша смекнул, что баба и до него добралась, а посему и возмутился, но решил Петро оправдать:

– Ты, Ксюша, понапрасну мужика не хай... тоже мне, хаянка!

– А-а-а, вас хай, не хай, что об стенку горох, – проворчала мать. – Черного кобеля не отмоешь добела.

– Ты вот ругашся, а он ить полну телегу харчей наворотил...

– Хошь сам живой обернулся, и то слава богу...

– Все, бедный, переживал: как там Ксюша с ребятишками...

Пока Гоша утешал, тихомирил мать, отец завалил долгую, тонкую березу, смахнул бритким топором сучья, разделся до белых кальсон и вошел в реку, пробуя жердиной глубь.

– Ой, отец!.. – истошно завопила мать. – Не суйся в речку!..

Опоздал ее обережный вопль: шагнул отец от затопленных верб, тут же и ухнул с головой в пучину, и сглотила мужика речка... Бестолко металась по берегу мать, беспамятно вопила Гоше Хуцану, вусмерть перепугав детишек. Вынырнул отец почти на стрежене, уносимый бурливым потоком, стал заполошно молотить руками, выгребая к тальникам. И лишь с полверсты от брода чудом прибился к подмытой и поваленной иве, судорожно уцепился за гибкие ветви, и, очнувшись от слепящего страха, отпыхался, потом, перебираясь от сучка к сучку, выполз на высокий становой берег. Шатко поковылял, хотя хмель с перепугу да в стылой реке

⁶ Зум (бурят.) – сто.

махом вышибло; кружилась и ныла голова, перед глазами роились сверкающие красные мухи. Когда посиневший, ознобленно клацающий зубами, притрусил к дороге, накинудся на него Гоша Хуцан:

– О, мама-дура! Куда полез?! Кого... смешить, она и так смешная. Вот уж верно, ума нет – беда неловка...

– Ладно тебе, Хуцан, закрой поддувало – жар высвистит, – огрызнулся отец. – Распазил хайло... Чем лаяться, достань бутылку да налей. Видишь, поди, зуб на зуб не попадают.

– О, это мы, паря, махом...

Выпив, мужики выпрягли коней и, стреножив треногами из ссученного конского волоса, пустили на скудный апрельский выпас. Запалив жаркий костер, варили мясное хлебово, не забывая прикладываться к бутылке. Когда семейство брело к дому, уже долетала хмельная мужичья песнь. Отец, фронтовик, завел боевую, а Гоша Хуцан, хоть и в тылу с бабами воевал, но тоже подтягивал:

Гремя броней, сверкая блеском стали,
Пойдут машины в яростный поход,
Когда нас в бой пошлет товарищ Сталин,
И маршал Жуков в бой нас поведет....

– Вот и прошло Вербное воскресенье, – неведомо кому промолвила мать, когда подошли к дому. – Завтра Страсти Господни...

VIII

Утром мать снова явилась к реке, прихватив и ребятишек, которые едва волочили ноги, – со вчерашнего полудня и маковой росинки во рту не ночевало. На соленую рыбу и глядеть не хотят... Отец мотался вдоль берега, высматривая, где помельче, потом сидел у лениво шаящего костерка и глядел мутными, тяжелыми, похмельными глазами в обезумевшую реку, которая неведомо когда и образумится, войдет в берега. Гоша Хуцан, как в неназорные мужичьи глотки утекло все пойло, подремал у огня, да похмелившись заначкой, еще до солнца укатил в деревню, плюнув на косачей и глухарей.

– Ты уж, отец, больше в речку-то не лезь! – крикнула мать, но отец лишь досадливо отмахнулся.

Бог уж весть, сколь мать торчала на берегу с ребятами и, надсаживая глотку, пыталась отца про молодуху, Татьяну, Илью, как тот – легок на помине, долго жить будет, – словно бурятский батыр Гэсэр, слетел с небес на крылатом снежном жеребце. «Есть Бог на земле...» – вздохнула мать, чуя сердцем: Илья выручит из лиха, чего-нибудь придумает, – парень ловкий. Видимо, Гоша Хуцан, спасибочки ему, добравшись до Сосново-Озёрска на своей хлесткой бричке, обсказал Илье горюшко, какое вышло на кордоне, и тот, легкий на подъем, тут же оседлал Сивку и где рысью, где наметом полетел в тайгу.

Илья – рано заматеревший, по-степному скуластый, буролицый, с приплюснутыми губами и курдеватым чубом – ловко соскользнул с коня, привязал Сивку к телеге, потом, увидев на другом берегу родное семейство, весело помахал рукой. Мать ожила, потянулась к Илье – обернулась бы горлицей, перелетела реку и обняла сына – тут же и ребятишки востепенулись, заверещали на разные лады:

– Братка приехал!.. Братка приехал!..

Илья помялся у реки, качая головой, и вернулся к отцу. Тот виновато, но с надеждой спросил тряским, осипшим голосом:

– У тебя, сынок, ничо там похмелиться нету?.. Прямо голова раскалывается... Три бутылки вчера с Гошей уговорили.

– Меньше надо пить, отец, – не те годы. Да и кого ты за Хуцаном гоняешься?! Тот, боров, литру засадит и ни в одном глазу. У него сало на брюхе в три пальца... Надо было на похмеле-то заначить.

– Да Хуцан, хитрозадый, одну бутылку в бричке запрятал. Помню, что брали четыре белоголовки... Я пока спал возле костра, Гоша, видно, похмелился и остатки с собой упер. От, паря, жидовска морда: нет бы разбудить меня или оставить. Друг называется...

– Не переживай, отец, счас буду лечить тебя.

– Ну, дак ты же у нас конский врач по женским болезням, – улыбнулся отец.

– Во-во, хирург, – согласился Илья.

В кожаном подсумке, притороченном к седлу, нашарил мятую походную фляжку и, лихо свинтив пробку, набулькал в приготовленные отцом алюминиевые кружки, приговаривая:

– Ладно, начинаем операцию, как это у хирургов: скальпель... спирт... огурец... Ну, отец, и я выпью с тобой для храбрости. А потом уж будем гадать, как речку брать.

Подлечившись, отец сучком пошуровал в костре, и призрачные, едва зримые лопухи огня затрепетали на утреннем ветру. А Илья ходил по берегу – мать напряженно и тревожно следила за сыном – прищуристо и вдумчиво присматривался, прислушивался к бурлящей Уде и о чем-то негромко рядился с отцом, показывая рукой от берега к берегу. До чего уж мужики договорились, бог весть, но мать видела, как отец серчалю сплюнул в костер и стал перебирать манатки в телеге.

– Ну, бог не выдаст, свинья не съест, – Илья потрепал жеребца по шее, да и, раздевшись до морского тельника... словно в атаку наладился, безкозырки еще не хватало, вскочил в седло, куда отец подал хольшовый куль с лямками, навроде поняги. Проехал вдоль полой воды, спустился в речку. С натугой одолевая стремительное течение, охлестывающее брюхо, скользя по камням, жеребец косым, извилистым путем все же пересек Уду. Мать молила Бога, суетливо и мелко крестясь, ребятишки обморочно следили за братом, а когда Сивка выскребся на берег, запрыгали, загомонили галчатами, а потом кинулись встречать братку. А как он сполз с седла и свалил наземь заплечный куль, Ванюшка с Верой повисли у него на плечах, приткнулась и мать, мокрая слезами и без того сырой тельник.

Илья сплавился еще туда и обратно, а в третий раз, для надежности привязав Гнедуху за узду к жеребцову хвосту, перебрался с отцом, прихватив уже все припасы. Навьючив коней, тихонько шли к дому, и матери так хотелось, чтобы дивом дивным, чудом чудным все ее дети – пятеро сыновей и три дочки – сели за один пасхальный стол, обнялись...

– Ну, слава Те Господи, и Пасху Христову, как путние, отведем. Кулич испеку... Да, Илья, что-то Майка не может растелиться. Вроде уж все сроки вышли... Ты уж, сына, погляди...

– От ить верно, а... – засмеялся отец, – пусти бабу в рай, она и корову туда волочит...

Задав лошадям сена и овса, мужики тут же пошли глядеть Майку, и Ванюшка припарился, тоже вроде мужик. Илья помял корове вымя, ощупал живот, заглянул под хвост и беспечно махнул рукой:

– Однако, паря, отелится под утро. Да все вроде ладно. Не первотелка же...

Обрядов церковных Краснобаевы не держались, а и ведала про них лишь набожная мать, да и та их никому не навязывала, а потому, хоть и пошла Страстная седмица скорбного поста, семейство на радостях сладило встречины. И постных, и скоромных наедков теперь хватало, а спирт казенный у вететеринара завсегда под рукой. Мужики выпили, крякнули, занюхали сивушный дух, но разговор застольный не сладился: то ли приморились, то ли помимо их художей воли прошепталося прямо в души про Страсти Господни. Петь Илья не собирался, да и какая песня без баяна, но вдруг, о чем-то неведомом закручинившись – видно, томило душу

горькое предчувствие короткого века – обнял мать и печально запел про то, как глухой неведомой тропой бежал бродяга глухой сибирской тайгой:

Умру-у, в чужой земле заро-оют,
Запла-ачет маменька моя-а.
Жена найде-от себе друго-ого,
А ма-а-ать... сыночка никогда-а...

Мать отвернулась, потом, выскользнув из-под сыновьей руки, накинула мерлушковую душегрейку, платок и, все так же не оборачиваясь к столу, вышла из избы. Отец недвижно глядел притуманенными глазами на вялый, желтоватый огонек за протертой стеклой, словно упрекал Илью: что же ты, сына, душу-то рвешь?!

– Как вы, Илья, с Фaeй-то поживаете? – пытливо глядя на сына, спросил отец.

Илья глянул невидяще, поморщился и махнул рукой.

* * *

Месяц залил ограду восково-белым свечением, где едва зримо дымится ладаном молитвенная песнь, – не то во здравие, не то за упокой; мать кладет поклоны и ярко блестящим звездам – душам праведных отичей, дедичей, и Млечному Пути – дороге ко Гробу Господню, и слезливым шепотком молится:

– ...О всемистилова Госпоже Владычице Богородице! Воздвигни нас из глубины греховная и избави нас от глада, губительства, от труса и потопа, от огня и меча, от нашествия иноплемennых и междуусобных брани, от напрасныя смерти, и от нападения вражия, и от тлетворных ветр, и от смертоносных язвы, и от всякого зла. Подай, Госпоже, мир и здравие рабом Твоим, – Петру, супругу, чадам моим: Степану, Егору, Ильей, Алексею, Шуре, Татьяне, Ивану, Вере да зятю Фелону, да молодухам моим – и всем православным христаном, и просвети им ум и очи сердечные, яко ко спасению...

Слезно просит мать Царицу Небесную за отца, сынов и дочерей, за Фелона-зятя, за молодух, поминая особо Ильяхину Фаю, а Ванюшка спит на вышке, притулившись к жаркому Илье, но словно от неведомого толчка просыпается, подползает к слуховому окошку, прослыша материн говорок, и видит, как молится мать, как скорбно качается на бревенчатом заплоте, на поленнице дров долгая материна тень, и так жалко матушку, так жалко, что парнишка отползает к войлочному потнику, утыкается лицом в полушубок, вместо подушки брошенный в изголовье, и мочит, солит слезами кислую овчину. Илья спросонок пригребает его к себе, и парнишка затихает, словно влетел с мороза в протопленную избу и прильнул к надежному и теплему печному боку.

* * *

Через много лет лишь, бывало, помянет Иван матушку, как и услышит ее шепотливые молитвы, узрит ее побуревшие, облупленные иконы, от которых уже и след остыл; и тут же со свирепым раскаяньем помянется время, когда семья кочевала из Сосново-Озерска в город, когда Иван, уже бойкий студент, под шумок прибрал к рукам медный образок Пречистой Девы и приладил его в общежитии над койкой, где криво-косо висели заморские картинки: поросячьи розовые девахи в темном белье, навроде мелко-ячеистой рыбацкой сети, в которой путаются прелюбодеи. О ту пору вышла мода на иконы, как и на голубые, добела протертые на зад и коленях, техасские штаны с коробистыми, лихо завернутыми гачами. Образок Пречистой Девы, приподнявшись на измаянной постели, голой рукой – и не отсохла – сняла себе

в дар огненно-рыжая, как лиса на окровавленном закате, настырная и мимолетная Иванова зазноба; и он, как в греховном гное, валяясь на сырой и сбитой в комок простыне, не смог отказать в припадке униженной благодарности и раздирающей его до скрипа зубов вины перед ней, оскорбленной уже и тем, что ничего в Ивановой душе не ворохнулось под утро, светом своим немилосердным выветрившим похотливый пьяный дух. Надо было чем-то отдариваться, коль любви не вышло... Потом он люто ненавидел себя за Пречистую Деву, и не потому что святое вмял в потную простынь – не верил ни в Бога, ни в беса и не кривлялся, изображая из себя богомольца – а потому что рвала душу вина, будто дом свой родной вместе с матерью выменял на беспамятную, звериную ночь с огненной ведьмой. Как в блатной песенке: «...С какой-то лярвой пропивал я отчий дом...» Но, чтобы не спалиться дотла в ненависти к себе, пробовал утешиться хитромудрыми мыслями: дескать, может, растерянной душе рыжей блудни, до треска затянувшей бабий зад синими штанами, и нужна Пречистая Дева, от которой явится спасительное раскаянье. Он еще пытался правдами-неправдами вызволить материн образок, подсовывая вчерашней зазнобе на выбор книги Булгакова и Набокова, за которые на «черном рынке» ломили бешеные деньги; но дева, как собака на сене, лишь учуяла, сколь дорог Ивану медный образок, так уперлась, что и не спихнешь, – может быть, от непереносимой обиды на Ивана за его нелюбовь, за то, что не смог хоть через силу проворковать ночью любовные слова, а такое не прощается.

Когда мать доживала свой век у Татьяны, давно уже перекочевавшей в город, где дочь позволила ей держать печатную иконку в посудном серванте рядом с фарфоровой посудешкой, молилась она все же в красный угол, близоруко всматриваясь во вмазанную в стенку вентиляционную решетку; крестилась мать о ту пору вроде по привычке, какая жила с ней от самого рождения, как привычка всякое утро, гожее или непогожее, студенно жгучей водой споласкивать с лица грешные отстатки сна или чесать частым гребнем свои до старости густые, темные волосы. И всякий раз, печально глядя на молящуюся мать, вспоминал Иван, повинно опуская глаза, промотанный им медный образок Пречистой Девы.

IX

С полгода назад, войдя в загул по случаю Октябрьской революции, Илья неожиданно женился на строгой девушке Фаине Карловне, а протрезвев, может быть, и схватился за бедовую голову, но было уже поздно, – зауздала прыткая дева, охомутала добра молодца. В Фаинины руки, легкие на расправу, и угодили Танька с Ванькой, когда перед сентябрем распрощались с таежным кордоном и приехали в деревню учиться.

Всяко в тайге живали, а ино и хлеб не жевали, но для лесничьих ребятишек всякое лето на таежной Уде угнездилось в памяти незатуманенным счастьем, и до седин и морщин отрадные и утешительные слезы одолевали при одном лишь поминании лесничего кордона: золотовенцовая изба среди желтого соснового свечения; ромашковые поляны и притихшие покосы, манящие ребятишек копнами; березняки, обмершие в зеленоватых чарах папоротника; черное лесье с огоньками лесных саранок, луковицами которых ребятишки лакомились; ленивая речная течь, чешуйчато сверкающая на перекатах; росная голубица в кочкастом распадке; брусника, вишневым и красным Млечным Путем рассыпанная по хребту; рыжики, солнышками млеющие на бурой хвое, подле комлистых сосен; притаенные во мхах и палой листве желтовато-белые сырые грузди... А на Покров Богородицы бесшумно вырысит из заречного леса Зима на пегой кобыле, прыгнет с седла, натрусит из правого рукава снег, из левого иней; а следом за ней внучек Морозко поскачет по ельничкам, по березнячкам, по сырым борам, по вершинкам, выстелет по рекам и озерам ледяные мосты; и тогда в чарующем свете лампы, под треск и шелк затопленной русской печи, под тоскливое пение ветра в трубе плетет Ванюшка-баюнок сестрам ладные и складные небылицы про снегиря, оповестника зимы, малюющего на

стеклах еловый лапник, про Ивана-коровьего сына, спасшего деревню от злого и прожорливого Змея Горыныча, про синегривую кобылицу, что хвостом след устиляет, доли и горы промеж ног пускает, через хребты перелетает, уносит ребятишек от лютого Коши-бессмертника.

Но в тот год Ванюшку отдавали в школу, а Танька уже отбегала две зимы; и, оставив мать с Верой домовничать на кордоне, к исходу августа запряг отец Гнедуху и повез ребятишек в село. В знойном мареве, в пихтовой духоте догорало усталое лето... Хотя еще по-летнему калило солнце, но березняк уже скопил усталость в огрузлой и вялой листве, призадумался, закручинился, а луговая овсяница, еще вчера сиявшая влажной зеленью, ковыльно облиняла и поскучнела.

С утра зашелестел по драневой крыше, по сиротливо обвисшим березовым листьям стылый морозящий дождь – прощай, видно, лето, тепло и грибное, ягодное счастье – но отец, запрягающий Гнедуху, подбодрил унылых домочадцев:

– Ничо-о, деды ране баяли: мол, дождь в дорогу счастье сулит...

– Во-во, наше счастье – дождь да ненастье.

– Не, мать, к добру дождик, будет нам талан⁷.

– Добро выпьешь... – насмешливо кивнула мать головой. – Талан... Наш талан давно съел баран... Ну, езжай, отец, с Богом. Да молодухе, Фаине, как-то ненароком скажи, чтобы шибко-то ребят не гоняла, – сдичали в тайге, вольные.

– Ничо, пусть привыкают. Не все лаской, а ино и таской учат, – умнее будут.

Проревев все утро, вытянув материну душу кручиной, Танька сутулилась в телеге, нахохленная и словно окаменевшая. Ванюшка же, которому страсть как хотелось в школу, нетерпеливо егозил на войлочном потнике, из последних сил тая суетливую радость. Хотя потом оглянулся, и радость померкла, закатилась вечерошним солнцем в хребты, – мать, держа за ручонку малую сестру, печально темнела у калитки и выплаканными за ночь, опустевшими глазами провожала ребятишек через весь приречный луг.

И все моросил и моросил нудный дождь, и поминались малому материны слова: наше счастье... дождь да ненастье. Когда проселочная дорога свернула к речному броду, Ванюшка обернулся и сквозь наволочь слез, сквозь морок увидел, – чернеет смельчавшая, одинокая мать, прижимая к себе Веру, – хотел было прыгнуть с телеги и бежать к матери, но сдержался и, побаиваясь отца, беззвучно заплакал.

От реки Уды телега поползла крутым взъёмом-тягуном, и у самого перевала Ванюшка снова оглянулся, прощаясь с таежной вольницей, – осиротело и печально жалась к нависающему сосновому хребту лесничья изба, где осталась мать о чадах в разлуке денно и ночью горевать.

И невольно припомнилось малыцу самое счастливое... как прошлое и нынешнее лето собирали с матерью голубицу.

Голубичная страда яснее и желаннее виделась и поминалась студеными зимами... После Крещения Господня, когда земной дух так звенел и постанывал от крещенских морозов, что и нос боязно высунуть из избы, как бы не оставить его во дворе, когда сквозь окошко, чащобно заросшее снежным куржаком, едва сочился слезливый, серый свет, не разгоняя, а доливая углам печальных, сырых потемок, когда в трубе начинала скулить и завывать ночная метель, – вот о такую пору для маленького Ванюшки опять, народившись само по себе перед глазами, сияло всякое ушедшее леточко, опять, причмокивая, плескалась в лодку озерная рябь, опять шумела во всполохах теплого, тугого ветра березовая листва-говорунья, опять млели в степном мираже кучерявые саранки и приземистые ромашки, и снова мерцала перед глазами влажная голубичная россыпь.

⁷ Талан (*бурят.*) – удача.

В зимних сумерках избы леточко распускалось краше, чем зрелось наяву, еще желаннее выказывалось замершим глазам, отчего было до слез жалко, что ушедшее леточко больше никогда-никогда не вернется, что не усладился им в полную душеньку, не нагляделся всласть на разноцветье-разнотравье, – пробежал, прохлопал глазами, проиграл в лапту. А столь зоревых рос проспал, когда листва и травы еще так тихи и вдумчивы после ночи и так прохладны и чисты...

Вот и в жизни Ивана повелось: и любовь, и дружба виделись отраднее после заката, и ярче светились пред очами, когда уже... близенько локоток, да не укусишь, и, как в детстве, терзала досада, что опять пропустил, опять прозевал.

Вместе с летом поминались Ванюшке купания дотемна и досиня; поминались рыбалки с ночевой на другом от деревни, диком берегу озера, непролазно заросшем тальником и боярышником; поминалась и голубица, синеющая для малого на счастливой верхушке лета.

Х

Пойдут, бывало, по голубицу на горб таежного хребта, по-медвежьи вздыбленного над лесничьим домом и приудинской долиной. Мать, на ноги не шибкая, приткнется к мало-мальскому курешку и берет ягоды быстрыми, мозольно-темными пальцами, словно доит голубичник или шерсть тянет из кудели, привязанной прялке, и, поплеывая на пальцы, прядет дымно-голубые нити – пальцы так и мельтешат, так и мельтешат над ягодной россыпью. А ведерко – в нем лишь бы донышко покрыть, а там уж само пойдет, – на глазах полнится голубицей.

Сестра Шура, о ту пору мужняя, которой быстро надоедает ребячья колготня, пасет ягоду неособицу, изредка, неохотно и ворчливо откликаясь на материно ауканье. Мать собирает голубицу подле ребятишек. Ванюшку же с сестрой Веркой одолевает лень, какая еще наперед их родилась, и, вырвавшись, в лес, точно годовалые бычок с телочкой на вольную мураву, задедут хвосты и пошли скакать по кустам, котелками брякать, только шумоток стоит в голубичнике. Найдут курешок – голубица вроде рясная – и бегут до матери наперегонки, поскольку каждому охота первому похвастать. Прибегут, запалятся, раструсят набегу припасенные слова, расшиняют их в клочья о сердитый шиповник и одно лишь в голос ревут:

– Мам!.. мам!.. мам!.. ягоды там!.. – тут уж, покраснев от натужного, неодолимого восторга, задыхаются словами, и шепчут сдавленным, сипловатым шепотом с тоненьким присвистом сквозь щели в зубах. – Ягоды там... с-синим-синё, с-синим-синё... с-син-нё-пре-с-с-син-нё!.. – здесь аж зубы сожмут до скрипа и мотают выгоревшими на солнце головенками, показывая, как там синим-синё, синё-пресинё, что и зубы студено ломит от ручейковой синевы, и глаза режет, и головушка кругом идет.

Мать отпугнется эдаким шалым восторгом, покачает маленькой головкой, от мошки и комаров туго повязанной белым, в крапинку платочком, и проворчит:

– Какой лешой вас по лесу носит... – но ворчание не избяное, нудное, похожее на капель из старого рукомойника, а лесное, сквозь смущенную улыбку, нарошечное ворчание, румяно-сдобренное блаженным покоем, голубичным урожаем, цвирканьем птичек из отяжелевшей августовской зелени и лоскутков синего небушка, мигающего сквозь березовую листву. – Сядьте тут-ка, да и берите – ягода, она кругом одинакова. А то пробегаете, просивентите и останетесь с полыми руками. Ну-ка... ну-ка, покажите, чего набрали-то?.. обогнали, поди, меня, старую?.. – мать приговаривает, а руки ее, как заводные, так и чешут, так и чешут голубичник. – Надо бы вам, ребятки, по ведру всучить, а то чо же вы с этими манерками?! – мать вытягивает шею, пытается занырнуть взглядом в пустые ребячьи котелки, но Ванюшка с Веркой прячут их за спинами. – Вы уж, ребяташки, случаем не ссыпаете куда ягоду? – лукаво посмеивается мать, обирая голубичник вокруг себя. – Скрадок-то приметили?.. А то, не дай

бог, потеряете. Тут же как иголку в стоге сена искать, – тайга бо-ольша-ая. И пропадет ваша ягодка, останется бурундуку на зиму...

– Мам, мам! – опять верещат ребятишки, чтобы приглушить обиду, – понимают, что мать подсмеивается над ними, и начинают злиться. – Мам!.. Ну, мам!.. Пойдем, пойдем скорей!.. Там же синим-синё от ягоды!..

– Хватит, поди, носиться-то, – сердится мать. – Ишь, разыгрались. Мы пришли сюды игрушки играть или ягоду брать?! Вон с того края заходите и шуруйте... Прижмите свои терки-то, пока не стерли, – тут она смягчается и уже с подмигом добавляет: – Ишь, неугомоны... Вот бегаєте по лесу, задрав глаза, а как на медведя напоретесь, – мать ведаєт, что здесь, подле лесничьего кордона, где денно и ночью брешут отцовы собаки, они сроду не будут шариться, а потому и смело поминает медвежье имя; в дремучей таежной пазухе она бы, конечно, не величала медведя по имени, чтобы не накликаť беды, – сказала бы: он или хозяин. – Михаила Иваныч теперичи ягоды наелся да и завалился в кусты, полеживает себе и в ус не дует. Отдыхат. Но ежли вы его потревожите, тут берегись...

Ребятишки испуганно вглядываются в мать: смеется или взаправду говорит?.. Мать улыбается краями губ.

– Ну, ма-ам, ма-ам... – опять приступает Ванюшка, чуть не плача уже, – там же синим-синё от ягоды. Ты такой сроду не видала.

– О-осподи, Пресвятая Богородица, прости мою душу грешную! От навязались, идола, на мою шею, а! И чо вам на одном месте не сидится?! Вам туды иголки натыкали, ли че ли?! Носитесь, как угорелые...

XI

Мать вздыхает в голос, потом, видя, что курешок ее почти выбран, вздыхается с корточек, похрустывая занемевшими суставами. Потирает поясницу свободной от ведра рукой и, полностью не разогнув отвердевшую спину, в благодарном и вечном поклоне лесу, бредет за ребятами. А те, разом повеселев, скачут по желто-бурому чушащему багульнику, по сырому, глубокому мху, как по сенной перине, от избытка воли и радости взбрыкивают ногами и перелетают через позеленевшие, скользкие валежины; потом, не то понарошку, не то взаправду запутавшись в багульничьих сетях, падают чередом, оглашенно смеются, расплескивая густую, тепло-смолистую, хвойную тишь, и снова мельтешат среди берез и лиственниц.

Мать же занемеет вдруг, стоит как вкопанная, смотрит им вслед отпахнутыми и остекляевшими глазами; смотрит печально, хотя не может понять, в чем же причина нежданной-негаданной печали. Впрочем, на самом доньшке сути зреет предчувствие, что все вдруг померкнет и не станет ни леса, ни ягодника, ни ребятишек, беспечно скачущих впереди нее. Вроде опять же и понимает, что пустое надумала, но сразу не может освободиться от неведомо откуда навязанной ей цепкой печали. Спасается молитвой. Шепчет:

– Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречитыя Твоея Матери, и всех святых, помилуй нас...

Господи, все же дивится она, накатит же вдруг ни с того ни с сего, намаячит перед глазами, а что к чему, не понять. И хочется, чтобы ребятишки так и остались детьми малыми, не поганились зрелыми грехами, не скрывались с ее сторожащих, оберегающих глаз. И опять она смекает, что пустое блажит, – придет времечко, отчалят чадушки от избыного порога во взрослую жизнь с ее грехами и скорбями, а она попросается с белым светом; и не привяжешь время к стойлу словно корову дойную, шалой кобылицей полетит время, и не поспеют глазом сморгнуть, как и их век закатится. Ох, и не столь нарадуются, сколь страдают...

...Пройдут долгие годы, и осиротевший Иван запишет: «...Мама, Царствие тебе Небесное, прости, Господи твои прегрешения, вольные и невольные, – мама, вижу тебя, склоненную

над голубичником; вижу лицо твое, разглаженное лесной благостью; вижу, как ты перекрестилась Богу, еще неведомому мне, прошептала молитву и, незримая, навсегда осталась в густо настоящем, душистом лесном воздухе, среди солнечных бликов...»

Ребятишки, оглянувшись, видят, что мать замерла и неподвижно, отстраненно следит за ними, и тоже замирают, тревожно и вопросительно уставившись на нее. Мать тут же глубоко вздыхает, встряхивает головой, чтобы отпугнуть наваждение, потом ободряюще улыбается ребятишкам, и те снова прыгают впереди матери, – ну, впрямь чистые бычок с телочкой, недавно отбитые от коровьего вымени и пущенные на вольный степной выпас, да вот и залетевшие сдуру в лесную чащобу. Разыгравшись, Ванюшка с Веркой начинают подмазывать лица голубикой и, прячась за толстыми листовницами, пугать матушку, с криком вылетая прямо на нее; потом кажут друг другу языки, темно-синие от ягоды, и мать с улыбкой смекает, почему ребячьи котелки пусты и куда ребятки девали голубику.

Найдут наконец хваленый курешок, а он не гуще материного, словно именно тот, какой пыхнул в ребячьи глаза сизо-голубым, плавающим и мерцающим туманом, давно уже снялся с земли и улетел из леса.

– Вот сразу бы пошли и... – Ванюшка не успевает досказать – ...и застали бы ягоду здесь, – потому что слова его тонут в Веркином плаче.

– Может, шли да промахнулись?.. может, где в другом месте? – спрашивает мать, но Ванюшка мотает головой и горькими глазами показывает на причудливую березу, – похоже, молния угодила, и лесина лопнула посередине и, уткнувшись вершиной в мох, вздыбилась коромыслом да так и остыла навечно; рваная рана с летами потянулась смолой, заросла, и калешная береза в одну из весен опять зазеленела, а потом из ее матерого ствола потянулись к прямые, навроде молоденьких берез, гладкие сучья, с курчавыми, тонкими вершинками.

Осердится мать на ребят, что с насиженной поляны сорвали – за ее курешком и дальше виделась ягода, – что ноги попусту убивает да время без пути теряет, но ругать не ругает, видя, что глаза ребят, удивленно, напуганно и беспомощно блуждающие по голубичнику, готовы вот-вот отсыреть слезами. Покачает головой да с печальной усмешкой укорит их, непутных, и наставит на ум.

– Синим-синё... Сидели бы уж лучше да помалкивали в тряпочку... Ой-ё-ёшеньки, казьи моя Господи... Раз нашли, почо же реветь лихоматом?! От ягодку-то всю и распугали...

Ванюшка с Верой, на минуту забыв о своем горюшке, слушают мать, широко распахнув глаза и отпахнув рты: в диковину им материна беседа, потому что, крутясь как белка в колесе по дому, по скотному двору, так что некогда и перевести дух, редко она судачит с ребятами вот так ласково, доверительно, с праздничной улыбкой.

– Она же, ягодка-то, милые мои, о-о-ой какая капризная. Ши-ибко не любит, когда к ней с наскоку, с набегу, когда ревут над ей лихоматом. К ей же, ребятушки-козлятушки, надо тихо-охонько, лего-охонь-ко подходить, с поклонцем. Так меня тятя учил, Царствие ему Небесное... Поклон-то она уважат... А как нашел, дак тоже горло не дери, – неровен час, спужнешь, спод самых рук улетит, тока ее и видали. Так от...

Мать развязала на поясе широкий плат, где береглась горбуха ржаного хлеба (бутылка молока топорщилась горлышком из ягоды в ведре), потом, вроде не замечая разгоревшихся ребячьи глаз, приладила платок половчее и опять завязала хлеб на животе.

– Бери себе втихомолочку да спасибо говори Боженьке – не забывай. Вот... Другие-то себе и сами, поди, найдут – лес большой, ягоды полон, всем за глаза хватит, только не ленись. А уж тебе Бог дал – бери, головой не верти. Или уж, ладно, мне на ушко шепни, а уж я ходом прорву до ягоды...

Мать весело подмигивает Ванюшке и пристраивается к голубичнику половчее, как будто с подойником к вымени коровы Майки, потом начинает брать, разгоняясь и разгоняясь руками, замысловато кружа ими, точно привораживая и ластясь, приманивая ягоду к пальцам.

Ванюшке, зачарованно следящему за материнскими руками, так и кажется, так и видится, что ягода синими струйками течет сквозь мельтешащие материны пальцы прямо в ведро, где уже бугрится у самых ведерных полосок; и голубика чистенькая, без единого листочка, синеватая, в сизом туманце.

– Ну, ладно, хватит ласы точить, пора и за дело браться. Присаживайтесь-ка подле меня и берите. Неча по лесу хвостаться. А то ежлив такие вырастете – в поле ветер, в заде дым – дак и всю жизнь пробегаєте, задрыв шары, и жизни путем не увидите. Тоже улетит, навроде ягоды...

ХП

Мать наговаривает то ли самой себе, то ли ребятам, а уж вовсю берет голубицу и берет не глядя, словно видя ее пальцами, что за полвека – в трудах от темна до темна – стали зрячими. Говорок ее все тонышает и тонышает, обращаясь в паутинку, потом и вовсе гаснет. У ребят же после материнских слов, как роса погожим утречком, тут же просыхают выпавшие на глаза крупные, с ягодины, слезы. Косясь на материны проворные руки, выдаивающие ягодник, Ванюшка с Веркой тоже начинают брать; вначале поклевывают там-сям, как цыпушки пшено, а потом пальцы мягчают, разгоняются, и дело идет быстрее.

– Ну, ничо, ничо, шибко-то не переживайте, нам и этого хватит за глаза, и на том спасибо Боженьке, – утешает мать, чтобы подбодрить ребятешек, чтоб не сбилась охотка и снова куда ни кинулись. – Вот так берите живо, а то, гляжу, и небо морочает, как бы дождик не прихватил... Да ты, сына, куст-то не мни, не ломай – на другой год, глядишь, опять сюда же привалим, а ягодка вот она, поджидат нас. А то кого же ты всем животом навалился на ягодник. В наклонку-то тяжело?... Молодой еще, молодой на карачках-то полозить возле ягоды. Это еще мне, старухе, куда ни шло... Прямо, всю поясницу изломало – к дождю, ли чо ли?... Не дай бог дождя, и так залило... Счас-то хошь ладно, греет мало-мало... Вот ягодка и пошла... О-ой... – вздохнула мать, – сколь мы ее раньше перебрали, дак вам и не снилось, – бочками набивали... Ты, сынок, слушай-то слушай, да и руками шевели... Шу-ура!.. Шу-ур!.. – кличет мать свою старшую, а когда она отзывается, продолжает поминать ранешнее. – Вот, значит... Тятя-то наш коня запряжет, три кадушки на телеге привяжет, потом нас, девок, насодит, да и в тайгу с песнями. А там уж гаевунами⁸ били... Счас-то с гаевунами делать некого, лист сшибать, – нет путней ягоды... нету, чо и говорить... Ранесь ее пошто-то много было – раз-другой гаевуном фуркнешь, вот те и ведро. Потом на поляне холстину или брезент расстелишь пошире, да и веешь ягоду на ветру. Красиво глядеть: как дождь синий льет, когда голубицу из ведра сыпешь на холстину. Посвистывам ишо, бывало, – ветерок подманивам. Ежлив ладный-то ветерок, дак лист весь на сторону и отлетат, а ягодка чистенька... И так, бывало, навеешься, что в глазах синё. И ночью-то спишь, и всё перед глазами навроде синий дождик...

Говорок материн иссякает, тает голубоватым дымком, а уж вместо говорка березовой листвою шелестит песня:

Ой да, развесе-е-елое-е было то вре-е-емя-а,
Да ли, когда мил, о-ой, когда мил-то меня лю-убил,
Когда ми-и-ил-то меня люби-ил.
Ой да теперь, о-ой, тепе-е-еря-а-то он меня не любит...

Ванюшка сперва не может понять, откуда веет тихая песнь, оглядывается, потом чутко замирает и, увидев, что напевает мать, – она едва шевелит отмягшими губами, – тут же смущенно склоняется к голубичнику. А песнь, раскачиваясь, вытягиваясь на звуках, грустно

⁸ Гаевун – приплющенное воронкой ведро без дна, с прорезанной ручкой; гаевунами били, то есть собирали голубицу.

подрагивая, то гаснет, то опять запыляется, сладостной печалью щемит и щемит Ванюшкино сердце, и парнишке – стеснительно опутившему глаза долу, словно он нежданно подглядел что-то сокровенное, потайное, – никак не верится, что поет мать, что это ее голос, мягкий и нежный, совсем не такой, с каким она жила в будни и голосила за хмельным столом. Чудилось, и лес, и голубичник поют вместе с ней, или даже вместо нее. И от всего этого мать, привычная, незамечаемая, становится далекой-далекой и загадочной...

Да ли он сме-ё... ой, он смеется на-а-адо мно-ой,
Он сме-е-ется да надо мно-ой,
Ой да, он сме-ё... ой, сме-е-ется да-я надо мно-ой,
Да ли, над девчо-о... ой, над девчонкой моло-о-одой...

Час ли проходит, полчаса ли, Бог знает, а ребятам, завлеченным ягодой, кажется – одно синевато промерцавшее перед глазами мгновение, а уж мать кличет Шуру, и когда та приходит с полным ведром голубицы, усаживается на сухое место под кряжистой сосной, потом из платка, подвязанного на животе, вынимает добрую горбуху хлеба и, разломив ее на четыре ломтя, выкладывает себе на подол и тут же пристраивает варенные в мундире картошины, яйца вкрутую, потом развязывает цветастую тряпицу с солью, и уж затем откуда-то из-под кустика, из тенечка, выуживает бутылку с молоком.

– Скисло, поди... – вслух думает мать и, выдернув зубами деревянную пробку, отхлебывает глоток. – Но ничо, пить можно. Э-эй, ребятушки-козлятушки, усаживайтесь поближе. Маленько пожуюем... А то уж промялись, поди.

– Мам, мам!.. еще пособираем, – горячо просит Ванюшка.

– Пробежали по лесу, – ворчит по-матерински рано повзрослевшая Шура, – а тут спохватились, когда уже домой надо идти.

– Не ругайся, Шура, – подмигивает ей мать. – Они же маленькие...

– Маленькие... А ягоду есть удаленькие. Ежели еще со сметаной да сахаром.

– Ничо они побегали, да и утомонились, братъ начали. Ребятки!.. без вас все съедим, ничо не оставим.

– Не, мы еще поберем, – упирается Ванюшка. – Сама ягода пошла. На курешок напали...

– Ладно, ладно, перекур с дремотой. Всю ягоду не соберешь, а и на том слава Богу, – мать, прижимая, елозит ведром, чтобы усадистой и устойчивей примостить его в голубичнике, – а то ребятишки опрокинут; в ведре же, большом, двенадцатилитровом, уже под самую завязку, и голубица – на загляденье: крепкая, хрушкая, с нежно-сизоватым налетом на бочках, сквозь который из самой глубины прозрачно высвечивает голубизна. Ягоды, словно тронуты легкой изморозью... Повязывая ведро платком, мать переживает: мол, бравая ягодка, а стемнеет, обмякнет и побьется, когда Шура притортует ее в деревню – дальний свет, тридцать верст по ухабам.

– Оглохли вы там? – снова окликает мать ребят.

Ванюшка же с Верой не слышат матери, боясь оторваться от ягодника, отстать друг от друга, нет-нет да и ревниво косясь в котелки, которые уже вот-вот будут полнехоньки, даже с опупком, – с бугорком, значит. У Ванюшки от старания и от того, что братъ голубицу приходится внаклонку, почти без разгиба, к носу приливает холодная сырость, и на самом кончике носа висит прозрачная капелюшка. «Ишь, заработался, даже нос некогда вытереть...» – одобрительно улыбается мать.

– Нос-то, парень, выколоти! – кричит Шура брату. – Вон об березу и выколоти, а то скоро в котелок сопли уронишь.

Но Ванюшка пропускает Шурины слова мимо ушей, – некогда сморкаться, он счастлив – обогнал сестру. Котелок у него побольше Вериного и уже полный, а теперь он берет прямо в кепку.

– Ладно, ладно, садитесь, – просит мать. – А то шибко-то много наберете, надо будет папаше кобылу запрягать, вывозить ягоду... Садитесь... Хватит нам ягоды. Вы у меня нынче и так молодцы – ишь, на пару-то ведро и нафукали. Шуру обогнали... Надо отцу показать – пусть гостинец вам срочно берет. Не зря же старались, работнички вы мои. Вот скоро еще по брусницу пойдем, дак вы нас ягодой завалите. Сдавать будем... А там и грузди пойдут, рыжики.

Домой брели счастливые – с добычей, и все бы ладно, но невдалеке от заимки на лесной бусанок вдруг выскочил серый заяц, и Шура, как маленькая, заполошно кинулась за ушканом, тут же и споткнулась о замшелую валежину и просыпала ягоду. Села на траву и заплакала.

– Чо уж теперичи реветь ревьмя, – укорила мать Шуру, – коль детство заиграло. Эка невидаль – заяц. Собрать надо ягоду...

* * *

И всякий раз ближе к бабьему лету мерцание начнет томить особенно сильно, уманивая в лес, но тот голубичник, где ягоды народилось синим-синё, синё-пресинё, уже никогда не выкажется ему. Где-то он прячется на родном приудинском хребте и не желает казаться, из лета в лето синё усыпаясь голубицей.

Весь вечер, а потом и во сне будет покачиваться перед Ванюшкиными глазами голубичное мерцание, превращаясь в призрачное звездное; от мерцания сомлеет и томно закружится голова; голубичное мерцание оживет и после Покрова Богородицы, когда Ванюшку отдадут в учение, когда с чуть слышным шелестом полетят с низкого, густого неба белые мухи, и мороз раскрасит избытые окошки голубичными кустами. Ягодное мерцание неожиданно-негданно явится, когда сельская учительница Нина Астафьевна, за малый росток прозванная Махоней, помянет войну, как гибли от холода-голода малые детушки, – сердце Ванюшкино защемятся болью, горло перехватит сухость и к моргающим глазам прильнут слезы, но тут же, будто противясь горю, не покорствуя, само по себе народится перед опечаленным взором с невиданной яркостью и приманчивостью теплое леточко, и привидится рыбалка среди розоватого утреннего тумана, и бескрайний голубичник, где в звездной синеве вольно пасутся он и сестра его Вера, а мать с улыбкой присматривает за ними.

Явится и поманит Ванюшку тот, синё пыхнувший в ребячьи глаза и, похоже, укочевавший от нахрапистого люда в дальнюю тайгу тот богатый ягодник, и затомит блажь отыскать его, хоть глазочком глянуть на курешок, где ягоды народилось синим-сине, сине-пресине. А с манящим голубичным мерцанием оживут и ласковые материны глаза, послышатся словно с небес ее поучения, по-лесному неспешные, теплые, припахивающие сосновой смолой, мхами и багульником.

ХІІІ

В деревне отец спихнул ребятишек с рук на руки сыну Илье и молодой Фае, а вечером, будучи еще в зачинном, балагуристом хмелю, ведал им про свое церковно-приходское учение-мученье, словно предвидел, что тиходумный и одичавший в тайге сынок наберется муки, пока одолеет азы да буки. Парнишка вроде и смирный, да в смиренном болоте все луканьки гошуют.

– Нам, архаровцам, ежели через передние ворота ум не входит, через задние загоняли, – толковал отец новоженям, но как бы и для Ванюшки, который подслушивал застольные беседы из горницы. – Да... Мы ведь, Фаина Карловна, ишо азы да буки зубрили...

Брат Илья, сам любил побалагурить, ущедряя речь шутками-прибаутками, но, чтя отца, лишь почесывал, облитую тельняшкой, взбугренную грудь да лукаво поигрывал медвежьими глазками. Фая, высокая, сухопарая, разливая окуневую уху, выкладывая на тарелки молодую вареную картоху, сумрачно и отчужденно косилась то на свекра, то на хмелеющего мужа. Больно уж не привечала она, строгая и молчаливая, хмельные и ухабистые краснобаевские застолья.

– Да, Фаинька, крепко нас учили, – поминал отец. – Бывалочи, сидим на лавке, все за одним столом. Учитель важно, чисто гусь, у доски похаживат, сердито головой поваживат, наставляют на ум, что пророк Наум. В ранешнее время как раз и шли в учение на пророка Наума, с начала декабря... Ну, сидим, зубрим азы. А вицы – прутья тальниковые – в деревянной кадке торчат, отмокают. Спробовал я эти вицы на своем задку...

– Надо было вам Илью почаще... вицами... – теперь бы меньше гулял, – вставила Фая, безглаголиво глядя, как муж, корежась, маетно жмурясь, тянет водку из стакана.

– Не, Фаинька, я ребятёшек и пальцем не трогал. Поворчу, бывало...

– А надо бы, – покачала головой молодуха. – Снять штаны да принародно выпороть.

В горнице залился хохотом Ванюшка, вообразив Илью, горделивого и бравого морячка, принародно скинувшим порты, чтобы лечь на лавку под прутья.

– На кнуте, Фая, далеко не уедешь, – загонишь кобыленку, ясно море. Не всё бичом да хлыстом, можно другой раз и свистом, – Илья хлопнул пустым стаканом о столешницу и, очерив в улыбке лошажи зубы, потянулся к Фая, широко отмахнул руки, словно хотел приголубить женушку в объятьях, потом басовито, тянуче пропел: – Сибирь, Сибирь, люблю твои снега; навек ты мне, родная, дорога... – но тут же осекся, стал закусывать соленым окунем.

– Досталась мне школа, – продолжил отец. – Хоть и смалу смекалистый был, все на лету ловил, но шибко баловный рос... Помню азбуку зубрили, за учителем вторили: аз – били меня раз, буки – набрался муки, верендеи – мухи в квас залетели, ер, еры – упал дедушка с горы, ер, юсь – сам подымусь, ижица – вица к гузну движется... К моему... – отец засмеялся. – Как-то додумался, живую мышь в школу приволок и учителю в сундучок сунул. Он там книжки держал... Учитель сундучок открывает, а оттуль мышь – прыг...

– Петр Калистратович, – укорила молодуха свекра. – Чему вы мальчика учите?! – она кивнула головой в горницу, где Ванюшка за круглым столом разглядывал картинки в новеньком букваре, не пропуская мимо ушей и застольные разговоры. – Ему нынче в первый класс идти. Тоже начнет вытворять...

– Так ить выпороли, Фаинька, – оправдался отец. – Тут уж сам Бог велит выпороть. Дознался, зараза, потянули Варавву на расправу. Пришлось порты скидывать да на лавку ложиться... Мужиков, бывалочи, и тех старики пороли за провинности, а уж нас, ребяташек, не щадили. Дак и в люди вышли, не варнаки... А уж как закон Божий, дак и вовсе страху натерпишься. Боговы слова хором учим, а батюшка... дородный такой поп с нашего прихода... коршуном скрадывает. Ему, заразе, мало, что мы сидим тише воды, ниже травы, муха пролетит – слышать; нет, паря, ему надо, чтоб повторяли за ним Боговы слова с чувством, с толком... Бывало, иной парнишка зырк в окошко, либо в носу начнет колупать, батюшка тут как тут. «Бес тебя, – дескать, – смущат, от Бога отводит. Счас, – мол, – буду из тебя беса изгонять...» И хватить огольца за ухо, да так крутанет посолонь⁹, что бес с перепуга и даст драпу. А у парнишки аж тёмно в глазах. А батюшка ишо и приговариват: дескать, бью не ради мучения, а ради спасения... Испытал на своей шкуре... – отец с веселым дивлением потеревил себя за ухо словно оно, памятливое, и через полвека заглохло вдруг ранешней болью. – Во как учили... Но зато теперь хошь среди ночи подыми, молитвы от зубов будут отскакивать. «Отче наш» скажу, сроду не споткнусь. А уж полвека минуло... Помню, четвертую зиму... мне уж лет четырнадцать

⁹ Посолонь – по солнцу.

стукнуло... батюшка на жизнь наставлял. Наизусь зубрили... – отец растопыренной пятерней отмахнул со лба сивые крылья волос, молодежало и озорно взблеснул глазами, глядя на молодуху, и вдруг часто, распевно забубнил в нос, будто пономарь церковный, но, похоже, толком не понимая, что и бормочет:

– Не ослабляй, бия, младенца, аще бо лозой биеша его – не умрет, но здоровее будет, ты бо, бия его по телу, душу его избавляешь от смерти; дочь же имашь – положи на ню грозу свою и соблюдеши ю от телесных, да не свою волю приемши, в неразумении прокудишь девство свое...

Молодуха внимала с почтением, – хоть и сложно расплести кружева словесные, но понятно, что о строгом воспитании; Ванюшка же, подслушивающий из горницы, дивился и смекнуть не мог, на каком наречии тарбарит отец: вроде и по-русски, а не понять. Отец без натуги толмачил по-бурятски, мало-мало по-китайски, потому что служил и воевал в Китае, а теперь еще и этот неведомый поговор.

– Но ты, батя, дал дрозда! – восхитился Илья. – Во, память, а! Ясно море, надо выпить за тебя. И за мать нашу...

– Воспитаешь детище с прещением, – продолжил отец, разодоренный почтительным вниманием молодухи, – и не смейся к нему, игры творя; в мале бо ся ослабши, в венце поболити, скорбя.

– Ты, отец, маленько толмачишь, чо набормотал? – поинтересовался Илья. – Или так молотишь?

– Ну-у... мало-мало смекаю, – уклончиво отозвался отец.

– Но, батя, память у тебя...

– Запомнишь, Илья, ежели учитель прут наготове держит..

– Да, – сурово одобрила церковно-приходские нравы молодуха, – хорошо учили. Я про религию не говорю, – мракобесие, конечно, от темноты, – но что учеников в ежовых рукавицах держали, это правильно. Теперь нету строгости, вот и растут хулиганы да бестолочи...

Илье показался разговор нудным, и он высоко поднял граненый стакан, где плескался «сучок».

– Выпьем, батя, за тех, кто в море, в Улхусаре, Хараноре!¹⁰

XIV

Хотя уговорили уже и поллитру «белой» и ополовинили бутылку круто разведенного спирта, отец и сын сидели крепко, и прежде чем упереть рога в пол – завалиться спать, многожды бранились, мирились, обнимая и целуя друг друга.

– Загинешь ты, Ильяха, ни за понюх табаку... – жалостливо косился отец на сына.

– Почему загину?! – Илья округлил и выпятил полосатую грудь. – Я – моряк, меня никакой шторм не свалит, – и, словно в подтверждение, пропел: – На палубу вышел, а палубы нет – сказал кочегар кочегару...

– Моряк – с печки бряк, растянулся, как червяк, – подразнил отец. – Неприлаженный ты к жизни... Да тебя с твоим ремеслом в деревне с руками бы оторвали. Озолотиться можно. А ты как с армии пришел в бушлате, так его по сю пору и не сымашь с плеч. Истлеет скоро – третий год пошел.

– А мне, батя, и так ладно. Мне почо форсить?! Девочек завлекать?! Дак они мне и в бушлате проходу не дают...

– Ой, ой! – брезгливо покосилась на него Фая. – Нашел чем похвалиться.

– А насчет озолотиться, – не слушая жены, договаривал Илья, – так не в тем счастье, батя. Ясно море...

¹⁰ Улхусар, Харанор – степные бурятские улусы.

– А в чем счастье?! – снисходительно усмехнулся отец – Растолмачь старику. Ты прошел огни и воды, плавал в море, в Улхусаре, Хараноре ...

– Счастье, батя... – Илья поскреб затылок. – А чтоб народ тебя любил. Не имей сто рублей, а имей...

– О-о-о... – замахал на него руками отец. – кого городишь?! Ты с с материнным братом, Ванькой Житихиным адли – пара ичиг. Тот ишо и Боженьку сует... Любят, Ильюха, у кого в кармане бреньчит. Будут побрякунчики, набегут и поплясунчики. Такую любовь покажут, что небу жарко станет...

– Не-е, батя, это не любовь. Такие поплясунчики до первой волны... Как в песне, батя. – Илья пропел:

– «Люблю тебя я до поворота, а дальше как получится...»

– Мудрён, у кого карман ядрён. Вот где счастье...

– А вот дед наш Калистрат иначе присказывал: хочешь жить счастливо, паши не лениво.

– Ишь, кого помянул, – смутился отец, вспомнив своего тятю, который сам пахал от темна до темна и другим не давал лодырничать, который гонял его, ловкача, норовящего лишний раз проехать на чужом загорбке. – Ушли, паря, старые времена, теперь такая жись... крутись, вертись... А ты чо, Фая, к печке жмешься, как неродная?! – чтобы не тянуть пустомельные басни, обернулся отец к молодой. – Присела бы с нами за компанию.

Илья подошел к Фае, дурашливо обнял ее, лобызнул в щеку.

– Садись, моя чернявочка, пригуби рюмочку да споем, – привычно окрылив руки, затыкнул: – «Я бродил среди скал, я четушку искал... Огонек, огонек...»

– Да отвяжись ты! Нажрался, как свинья...

Илья целко и опасно прищурился на Фаю и отстраненно, с холодком, величая по отчеству, упредил:

– А вот так, Фаина Карловна, мужику говорить рисковно. Особливо, выпимшому. Тут и до греха рукой подать. Ясно море...

Молодуха, окатив пьянчуг злым и презрительным взглядом, ушла ночевать к подруге, перед тем так осерчало хлопнула дверью, что испуганно заметался огонь в керосиновой лампе. Илья успел крикнуть ей вслед:

– Можешь, и вовсе не ворачиваться! Зад об зад, и кто дальше улетит... Ишь, волну гонит...

– Худо живешь, Илья, – укорил отец сына. – Не ценишь Фаю. Она ить вроде из немок, порядок любит, не то что наши халды деревенские. Жалеть ее надо...

Сын хотел было огрызнуться: дескать, чья бы корова мычала, твоя бы молчала. Шибко ты нашу мать жалеешь – как с войны пришел, пьешь да гоняешь... Но Илья сдержал язык – отец все же, и лишь досадливо махнул рукой в сторону двери:

– Пусть идет. Ишь, сера, что свинья, а зла, как змея...

– Ты, паря, пошто так про жену-то?! – возмутился отец.

– Вобла вяленая...

– Видели, поди, очи, что брали к ночи.

– Не лежит душа...

– Ничо-о, полюби – через год понравится. Пригожая жена, паря, тоже лишняя сухота.

– Вот ты мне, батя, скажи, отчего так? Девушки хороши – медовые пирожки, но откуль злые жены берутся?

– Баламут ты, Ильюха. Тебе, дурню, подфартило, хозяйку в избу привел, а ты не ценишь свое счастье.

– Счастье... Не, батя, я с ее спесь-то собою. Помнишь, как дед Калистрат говорил: не скот в скоте – имануха, не зверь в зверях – суслик, не рыба в рыбах – рак, не птица в птицах – нетопырь, не муж в мужьях, кем жена владеет...

– Ловко баишь, – подивился отец. – Ишь чо припомнил. Да не те, Ильюха, времена...
– Те, не те... Кто хозяин в дому? Ясно море, я! По-моему и будет. Я, батя, моряк...
– Во-во, грудь моряка, зад старика... Про тебя уж в деревне лихая слава идет: худо, Илья, живешь...

Сын подивился отцовым наставлениям – сам ведь не чище: овес от овса, пес ото пса, – усмехнулся и широко зевнул:

– Ничо-о, отец, меня в деревне уважают. Я ить нарасхват – конский врач по женским болезням.

– То-то и оно, что конский врач... Тебе чо, рад Илья, что опоросилась свинья. Вот и все твои заботы...

XV

Илья, оттрубив пятилетнюю службу на Северном флоте, выучился на ветфельдшера и теперь ветеринарил в племенном совхозе, где искусственно и натурально выводили и рбстили породистых симментальских коров, герефордских бычков и забайкальских тонкорунных овец. Мотаясь на коне по степным бараньим гуртам, по молочным и откормочным фермам, лечил совхозную скотину. Попутно правил и деревенскую скотинешку, а чаще, легчил быков и боро-вов, чтобы вес нагуливали, не сжигали жир и сало, норовя продолжить племя.

Был Илья коновал отменный, потому что и учение прошел, да и вырос при скотине, – у раскулаченного деда по забайкальским степям паслись стада коров и табуны коней. Был Илья и безотказный: ночь-полночь подымут – у того бычок какую-то холеру сжевал, вот и понос кровавый, у другого непутная телка бок пропорола, у третьего корова-первотелка не может растелиться, – Илья покряхтит, да делать нечего: котомку в зубы и пошел править скотинешку. Правил с шутками, прибаутками, а то и с придурью: занедужила коровенка, отпахнет той жевалку, а хозяина просит: «Глянь-ка корове под хвост... Видишь меня?.. Нет... Пишем: заворот кишок...» Был Илья и не хап: шмат сала пихнут за правез, и тому рад. А коль в деревне наловчились за пылкого жеребца, обращенного в сивого мерина, да за выложенного быка расплачиваться «белоголовым сучком»¹¹, то Илья приноровился и к выпивке. К тому же под рукой всегда водился и казенный спирт. Месяц, бывало, держится, потом сорвется, загуляет, но, к его чести сказать, работой не попускался.

Кто на борзом коне замуж поскачет, скоро поплачет, и Фая, конечно, спохватилась, что с молодого глупа кинулась в объятья распотешного морячка, подметавшего деревенские улицы расклеванными гачами, лукаво напевая под баян:

У гармошки семь пружин,
Девкам головы кружим,
Закружим да завлечем,
Потом другим кружить пойдем...

Вышла иркутяночка не из красы... тоска-доска и два соска, как во злом хмелю оценил Илья... да и лета поджимали, вот и побоялась: не найдешь паренька, прыгнешь за пенька. А когда женихались, таким ловким и мастеровитым выказал себя, всё в руках горело; так уж пасла его, унижалась, вымаливая ласковый взгляд, будто и согласная на то, что поматросит да бросит. Пожалел, приветил, а Фая, на то и швея, быстро пришпилила паренька к своему подолу, сноровисто отшив деревенских зазноб, что заманисто крутили возле игривого морячка туго перепоясанными, сборчатыми юбками. А ведь иные на корню сохли по краснобаевскому

¹¹ «Сучок» – водка низкого качества, которую готовили из древесного спирта, из «сучка»; «белоголовка» – водка в бутылках с белыми пробками.

парню, клюнув на его комлистую статью и песни, которые он браво пел под баян на деревенских посиделках и приозерном пятачке, – там форсистые парни и девчата промеж «Дунайских волн» уже разучивали прыгучие и ревучие заморские хали-гали. Но Илья, как сам говаривал, привлекал лишь русские народные да блатные, хороводные...

Краснобаевская родова – пятеро парней и три девки – пошла в отца, укырского гармониста, игручая либо певучая; лишь малому оттоптал медведь лопухи-ухи, но опять же любил слушать и веселые, и слезливые родные напевы, и слушал до сладостного обморока, в песенном ветре кружась и паря над тайгой и степями, отлетая душой в поднебесную синь. Но если отец уже годом да родом брал в руки тальяну, а три краснобаевских сына, Егор, Алексей да Илья, парнишками редко маяли гармонь, то большак Степан хромку смалу из рук не выпускал, с ней в обнимку ночевал; а как гармонь из моды выпала, махом баян освоил и колесил вместе с голосистым хором по деревням и даже в городе играл. Растолмачить бы ему, случаху, ноты, и вышел бы в артисты, но молодая да властная жена Августа, заправлявшая бухгалтером в сельпо, спохватилась – скрутится, сгуляется мужик с ветродуйными певичками, – быстро списалась с золотым городом Бодайбо, куда новожени вскоре и укочевали. Там Степан выучился в техникуме, одного за другим наплодил двух ребятишек, и коль работы по службе и по дому стало невпроворот, то уже редко, лишь по красным денькам, доставал украшенный переводными картинками, сладкозвучный баян.

Илья же без песни жить не умел и не хотел, баяном, к коему прирос на флоте, не попускался, оттого и, потеснив своего большака, славился на весь Еравнинский аймак добрым песельником, гармонистом-баянистом, да тем еще, что, смалу отчаянный, наловчился объезжать диких коней. Впряжет в сани дикошарого жеребчика, загонит по самое брюхо в глубокий снег и понужает, пока с того семь потов не сойдет, а с ними и весь урос слетит.

XVI

– Не по себе ты, Илья, березу завалил, – вздохнул отец. – Запрягай дровни, ищи ровню. Ты – крутель-вертель... Тебе бы брачеху¹² с бараньего гурта – в самую пору.

Вместо ответа Ильюха, отмахнув руки, словно хотел обнять отца, пропел на мотив «мадьярки»:

– Вышла бурятка на берег Уды, бросила в воду унты... Знатьё бы, так братскую бы взял, – мне сподручнее.

– Во-во, как материн брат Ваня Житихин. С брачехой окрутился, живет в тайге, раз в году в бане моется, пню горелому молится... А Фая – культурная... Родова свое берет – хошь и орусевшая, а всё немка. Я, паря, на Германию в войну поглядел, – вот где порядочек-то, а!.. Русским-то о-ой как далеко до немцев... Не-ет, чо ни говори, Фая – хозяйка, не чета тебе, иману бесхозному...

Укорял отец сына, жалеючи Фаю, на кручину свою девью угодившую не в крепкие, домовитые руки, а Ильюхе, бродяге и бездомке, навроде чабана-кочевника. Ему что, дождь вымочит, солнышко высушит, степные ветры кудерьки расчешут, а на своем хозяйском дворе хоть трава не расти. А Фая была хоть и не из красы в отличие от своего суженца – сухая, мосластая, носастая, – но да красоту не лизать, Ильюху-дурака не отесать; зато уж попалась строгая, домовитая и, не в пример иным деревенским бабам, редкая чистотка, шибко уж порядок любила. А Илья любил простор и свежий воздух, – бывало, до покровского снега, до первых зазимков ночевал в телеге под звездным небом, потом уж перебирался на сеновал и лишь в канун рождественской стужи кочевал в избу. Любил Илья и своих земляков... Если Фая, обихаживая семейное гнездышко, гостей, особенно простых работяг, не привечала, то Илья

¹² Брачеха – бурятка.

уродился характером широкий, как Сибирь, – за эдакую широту и за то, что любил петь про Сибирь, деревня величала краснобаевского парня на бурятский лад – Ильюха-шыбирь; и на первых порах его совместной жизни с Фаем народ из дома не выводился. Рыбаки ли из неводной бригады, чабаны ли, скотники и пастухи с гуртов и ферм, – все подворачивали к дому Краснобаевых, когда там хозяйничал Ильюха-шыбирь; не скупясь, щедро одаривали мясом ли, рыбой ли, после чего пир горой и дым коромыслом, а изба не топлена. Иные норовили остаться на ночлег. Но Фая, которой надоело грязь за мужиками выворачивать и слушать их соленые-перченые деревенские байки, быстро отвадила гостей, – кого пристыдила, кого выпихнула в зашей, и дом притих, построжал, стал походить на самую молодуху. Илья с этим долго не смирялся, но Фая, девка настырная, одолела, и друзья шыбирины стали забывать дорогу к избе Краснобаевых, хотя и хозяин теперь все реже и реже казал глаза в семейном гнездовье. К тому же Илья нет-нет да и гонял скот то в Читку за триста верст, то из Монголии, так что Фая вдовела при живом муже.

– Да ... – отец глянул в горницу, где посиживал его малой, – Танька-то большая, послушная, а вот Ваньке, неслуху, молодуха вправит мозги, покажет кузькину мать. Не слушался отца, послушайся кнута.

– Ты, батя, не переживай, я братку в обиду не дам, – Илья выставил огрубелую короткопалую ладонь, будто заслоняя Ванюшку от Фая.

– Тоже фелон¹³, навряд тебя, растет, – проворчал отец, вечно скорбя, что Ильюха и Ванюха не в Краснобаевскую родовую пошли, ловкую и расторопную.

– Ну, мне-то, батя, некогда фелонить. У меня вот тут, – Илья похлопал ладонью по медвежалому за гривку, – полторы тыщи крупного рогатого, да пять тыщ овец. Шибко не пофелонишь... А насчет Ваньки, тут баба надвое сказала. Про меня уж что говорить, а малой-то не дурак растет. И малюет браво, и язык ладно подвешен. Эй, Тарзан! – кликнул он Ванюшку по семейному прозвищу. – Покажи-ка чего намалевал?

Ванюшка кинулся было из горницы со своим альбомчиком, где нарисовал по памяти лесничью избу у изножья соснового хребта, но споткнулся об отцовское бранливое слово.

– Балабол, весь в своего крёсного, Ваню Житихина.

– Про Житихина не скажу, а наш, может, еще и художником станет. Глядишь, и нарисует, и прославит нашу Краснобаевскую родовую, да и материну, Житихинскую.

– Болтаешь языком, как боталом¹⁴ коровьим.

– Ну, тогда споем, батя, – Илья тут же затащил на колени баян, пробежал пальцами по ладам и басам, потом голосисто взыграл и запел, насмешливо глядя на отца, словно похваляясь своим вольным нравом:

Живы будем, не помрем,
И сыграем, и споем...
Эх, батяня, дел не счесть,
Денег нету, песня есть...

XVII

Выгулявшись, опохмелившись, после сурового назидания молодухи, отец с грехом пополам запряг Гнедуху, погрузил мало-мальские харчишки, какие припасла Фая, и отчалил в тайгу. А коль брат Илья от зари до зари лечил и легчил скотину, а то и вовсе уезжал с ночевыми

¹³ Фелон – ленивый, беспечный, недомовитый.

¹⁴ Ботало – колокольчик, который вешали на коров, чтобы легче вечером искать в лесных лугах.

и возвращался порой на развезях, чудом выпрягая кобылешку из телеги, то Ванька с Танькой угодили в суровые молодухины руки.

Бредил Ванюшка школой уже с весны, когда снег еще не сошел, но по солнпекам, на проталинах проклюнулись оповестники весны, – цветы-прострелы, похожие на желтоватых, голубоватых, пушистых цыплят. И потом все лето жил в нетерпеливом и счастливом выжидании осени; впереди светило нечто новое, волнующе красивое, должное круто и празднично переменить его жизнь, обрядшую своим однообразием, когда день ото дня не отличишь. Вот почему, перекинув через плечо сшитую матерью на руках холщовую сумку-побирушку, куда уложил книжки и тетрадки, сломя голову побежал учить азы и буки.

Рубленная еще при царе-косаре школа о двух классах почернела матерыми венцами, вросла в землю, но к сентябрю ее подчепурили, – выкрасили наличники, колоды, рамы, двери и полы, отчего школа, принарядившись, стала походить на молодящуюся старую деву. Ванюшка едва открыл тяжелую, набухшую сыростью дверь, – к ней, чтоб сама закрывалась, и не выстужалось тепло, подвесили через блок увесистую гирию; переступив через исшорканный, но подкрашенный порог, парнишка очутился в узких сенях, где белели две печки и две высокие двери в классы, подле которых поджидали учеников две учительницы: молодая румяная и пожилая чернявая, вскоре окрещенные безжалостными архаровцами краснопупой и чернопупой. И хотя так желал Ванюшка попасть к молодой и румяной, но угодил в руки чернявой, а та, навроде молодухи, решила выбить из парнишки лишнюю дурь.

Не прошло и двух недель, как Ванюшка остыл к учению: учителька бранила, ребятишки шпыняли, – пугливый рос, тележного скрипа боялся, да и простофиля добрый; и лишь зацвел таежный хребет за поскотиной желтым, малиновым, бурым осенним цветом, парнишка и вовсе бросил учение. Бывало, под конвойным взглядом молодухи наладится утром в школу, кинет в холщовую сумчонку азбуку, букварь и тетрадки, упакует в ситцевый мешочек чернильницу-непроливашку да нет бы в школу бежать, завернет на озеро, сумчонку захочет под лодку и тетрадки изрисовывает или с дошколятами потешается. Даже подсобляет мух хоронить... Словно выудив из родовой памяти ранешний деревенский обычай на Сёмин день, вырежут парнишки из репы гробик и, упокоив там пойманных мух, весело вопят, утирая слезы: «Мухи вы мухи, комаровы подруги, пора умирать. Муха муху ешь, а последняя сама себя съешь...» Зарыв муший гробик в сырой песок, поминают, чем Бог послал, что из дома тайком прихватят.

А уж полыхает вечерними зарницами месяц-зоревик, утрами седая паутина на приозерном лугу, и деревенские гуси тревожно гагачут, хлопывают крыльями линияющую мураву, тоскливо глядя, как табарятся гуртами и, загнув над озером прощальный круг, уплывают дикие гуси небесной синей степью. И гаснущим эхом доплывает с высоких небес на осеннюю землю птичий голос: прощай, матушка-Русь, я к теплу потянусь... И влечется Ванюшка тоскующим оком за улётными птицами, и чудится: летят гуси на лесной кордон, где осталась материна ласка... и текут слезы по щекам.

Если на озере ни души, дует Ванюшка напрямик на рыбзаводской конный двор, где конюшил дед Кузьма. Заберется на приморенную рыбацью клячу, плетется по деревне, похваляется, – вместе с дедом гонит табунок к озеру на водопой.

– Приучайся, Ваня, с конями обращаться. – поучал дед Кузьма. – В ранешню пору как раз на Сёмин день чадо подстригали и на коня сажали. Вот твой большак Ильюха-шыбиль, тот в лошадях толк знат... доподлинно.

Сродник Ванюшкин сам расписывался крестиком и внучатого племяша к учению не понуждал: неча мозги засорять и душу смущать; мол, деревенскому парню, коль лошадедку запрягать наловчился, больше и нечему учиться.

– Но, однако, подучи еще заговорное слово Флору и Лавёру, отчитывать коней, ежели занедужат, – толковал Ванюшке дед Кузьма. – Такой был нашепт: мученики достохвальные, всечестные братья Флор и Лавёр, услышите всех притекающих к вашему заступлению, и как

при жизни вашей вы исцеляли коней, так и теперь избавляйте их от всяких недугов... Бывало, занедужит кобыла жеребая, отчитаешь ее, святой водичкой обрызгаешь да ладаном окуришь, – недуг с кобылы рукой сымат. Ожеребится – и жеребенок ладный. Флор да Лавёр до коней добёр. Во как, Ванюха – кобылье ухо. А учеба чо?! Не будь, Ванюха, грамотен, а будь памятен. Так от...

В школе путние ребяташки хором зубрили: «Пришла весна, настало лето, спасибо Ленину за это», а Ванюшка со святыми Флором и Лавёром да дедом Кузьмой учился хворых кобыл заговорной молитвой править.

XVIII

Плетется, вьется пеньковая веревочка, а приходит и конец: недолго парнишка отлынивал от школы, прохладился на озере или конюшил напару с дедом Кузьмой. Вначале парнишку размалевали в школьной стенгазете: задом наперед, чтоб смешно и обидно вышло, запрягает древнюю клячу. Потом грянула прямо на дом чернявая учительница, потолковала с глазу на глаз с молодухой, и та вечером наладила вольному деверьку жаркую баню; поставила в угол на весь вечер, а утром, будто непутевого бычка на поводу, отвела за ухо в школу.

Со слезами и горем пополам, но к учению Ванюшка приноровился и даже вышел в ударники, нацелился в отличники, но тут молодуха, будто с цепи сорвалась или с помела упала, летая глухими ночами на лысую гору. Жизнь ее с братом Ильей шла наперекосяк, и вскипевшую бабью досаду Фая вымещала на ребяташках: у злой Натальи все каналы. Перечить же Илье, что воду в ступе толочь, да и рисковано, – может и рукам волю дать.

Бывало, прибежит молодуха из промкомбината, где кроила и строчила на машинке немудрящую деревенскую одежду, сгоношит без всякой охоты некорыстный ужин, чтоб ребяташек с голоду не заморить, а потом, костеря на чем свет стоит своего суженца-несуженца, гулевана и бродягу, зло косится в окошко, уже по-зимнему чащобно заросшее разлапистыми, бледно-синими лопухами.

Ребяташки испуганно таятся в горнице, посиживают за круглым столом, увенчанным керосиновой лампой; скребут перышками в тетрадах, словно мышка в подполье шебаршит; учат уроки, занемев в натужном ожидании пурги, нервно вздрагивая после каждого молодухино проклятья на браткину беспутую голову, – вот сейчас и за них возьмется; открывают учебники, шарят невидящими глазами по буквицам – чернизнам, что на ниточку нанизаны, но читаное не цепляется к обессиленной от страха памяти, да и сами строчечки плывут перед глазами, а то и мутнеют, растекаются в слезах, капающих на книжные листы.

– Опять, идол, загулял! – разоряется молодуха на кухне. – Да, поди, еще и по бабам таскается, – Фая припомнила, как однажды Илья зарился в клубе на веселую деваху. – Не коровью он породу улучшает... конский врач... а бабью. Бабы тут все племенные... Тьфу, пропасти на него нету!.. – она сплевывает в замороженное окошко и, присев к столу, кричит в горницу: – Танька, Ванька! Идите-ка сюда.

Торчат ребяташки перед молодухой, опустив долу повинные головушки, мелко подрагивая, словно жалкие осиновые листочки, которые вот-вот осенний ветер-листодер зло сорвет и кинет на стылую землю.

– Ванька!.. Ты почему, лодырь, мало воды наносил?! Говорила же – полную бочку... Тяжело на озеро ходить, остарел. Да?

Ванюшка не ведает: остарел ли, не остарел?.. да и как отвечать, если от страха примерз язык к нёбу, а едкие слезы жгут и застилают глаза.

– Я спрашиваю, почему воды мало наносил? Почему?

Ванюшка молчит, едва сдерживаясь, чтобы не разреваться в голос.

– И дров мало наколот, и куричью стайку путем не вычистил. Все делаешь спустя рукава... Опять на озере пробегал, на коньках прокатался? Отвечай, охламон? Воды в рот набрал?

И так она пытается парнишку с полчаса, потом хватается за ухо и, уже плачущего, тащит в горницу, где и пихает в угол.

– Всю ночь у меня будешь в углу торчать. Извадила вас мать, избаловала. А тут еще брат, пьянь подзаборная, поважает. Но ничего, я вас быстро выучу, вы у меня по одной половине будете ходить.

Возвращается в кухню, опять садится за стол, начинает пытаться Таньку: почему курям мало зерна дала?.. почему пол путем не промыла, грязь по углам развезла?.. и вскоре ее, уже ревушую в голос, волочит в горницу и ставит в другой угол.

– И чтоб не реветь у меня, ясно! – грозно велит ребятишкам, и те, глотая слезы, чуть слышно всхлипывая, замирают в углах. – Будете реветь, на мороз выпру. Идите, своего брата гуляющего ищите... А пока постоит. Вот как прощения попросите, тогда посмотрим. Может, и спать ляжете.

Ванюшка набирается ума-разума в углу под Марксом, Танька – под Энгельсом; портреты в дубовых рамах, под стеклом отец, бывший до тюремной отсидки партийцем, приволок из погорелой избы-читальни, когда среди бела дня красный петух заплескал крылами на кровле из ветхого дранья. Пожар залили водой, но все у начальства не доходили руки, и долго, как бельмо в глазу, чернела изба-читальня, беспризорно, слепошаро зияя выбитыми окнами; рылись там сельские книгочеи, унося путные книги, шарилась ребятня, выбирая книжки с картинками, а отец, чтоб добру не пропадать, прибрал к рукам два портрета и повесил в горнице. Мать смутно догадывалась, что за деда там намалеваны, – «Вроде заместо святых у партийцев...», и, чтя советскую власть, умиляясь ученой и сытой благообразностью бородачей, после каждой белёнки вешала в горнице Маркса и Энгельса, а на кухне – отсуленные матушкой образа. Между прочим, когда уполномоченные по скотским налогам переписывали в горнице краснобаевскую животину, то, почтительно взглядывая на портреты, другой раз и не пытались насчет припрятанных бычков и телочек.

Теперь под боролатыми дедами томятся Танька с Ванькой. Молодуха, уже не чая дожидаться муженька – совсем отбился от дома, медведь-шатун – задувает лампу в горнице, укручивает фитиль в кухонной керосинке и, оставив сиротский свет, в тоскливом, холодном сумраке ложится спать. Долго ли, коротко ли она дремлет, но слышит дрожкий, сквозь всхлипы Танькин голос:

– Тетя Фая, простите меня. Я больше не буду...

– Что не буду? – молодуха отрывает голову от подушки, раздраженно скрипя панцирной сеткой. – Не будешь полы мыть?

– Не буду... – путается Танька.

– Не будешь? – гневно переспрашивает молодуха. – Ну тогда еще постой. – Может, к утру сообразишь своим куриным умишком, как надо прощения просить.

– Буду, буду! – с горем пополам соображает Танька.

– Что буду?

– Буду полы чисто мыть.

– Ладно, иди, дура, спать. Но если еще повторится, никакое прощение тебе не поможет. До утра будешь в углу торчать...

Танька на цыпочках крадется к своей лежанке и затихает, лишь изредка слышны сдавленные всхлипы – воет безголосо в подушку, солит куриный пух едучей слезой. При отце-матери ребятишки вповалку спали на полу, подстилая овчинные дохи и укрываясь шубами, но молодуха, взрослая в городе, настояла, и пришлось Илье для ребятишек косо-криво, топорно смастерить из неструганого горбыля коротенькие топчаны.

– А ты, охламон... – глядит на Ванюшку словно волчица на телю, – будешь прощения просить?

Парнишка, терзая бедное сердчишко ненавистью к молодухе, злым шепотом обзывая мачехой и ведьмой, – те в сказках лютые, – настырно молчит.

– Молчишь, как рыба об лед, – усмехается молодуха и, отвернувшись к стене, ворчливо договаривает: – Весь в брата уродился. Такой же идиот... Ну, стой, стой, может, глядишь, и поумнеешь.

Молодуха ворочается, затихает, и уже слышится ровное похрапывание, похожее на жужжание швейной машинки, – спит швея Фая; а Ванюшка торчит в стылом, изморозном углу и то клянет ее, жесточа душу, то со слезами поминает мать. В людях наплачешься, так и помянешь мамку, покаешься: не жалел, зубатился, неслух. «Маменька, миленькая, родненькая... – шепчет Ванюшка, слизывая горькие слезы, – приедь, забери меня отсюда... Маменька, родненькая... не могу больше. Убегу на кордон... И Таньку возьму...»

XIX

Жизнь брата со швеей Фаиной Карловной поролась по швам, как разползлась на отмашистой и бугристой Ильюхиной спине тесная рубаха, новомодно, по заморскому журналу, сшитая супругой на мужнины именины. Фая из последней моченьки пыжилась хоть внахлест зачинить свой, так быстро изветшавший венец с игривым морячком; спасала тонущую семейную лодку, пытаясь хоть тряпичной ветошью заткнуть пробоины, в которые уже нахлестывала студеная вода.

Однажды Ванюшка проснулся посередине ночи от назойливого и тревожного шепота с кровати, будто сдуру залетевший в избу овод в стекло бился.

– Давай, Ильюша, уедем в Иркутск к маме, – настаивала Фая. – Не будет нам тут счастья.

– Что я буду делать в городе? – даваясь зевотой, спросил брат. – Коровьи шевяки пинать?

– Какие шевяки?! – зашипела Фая. – В Иркутске и коров-то нету...

– А я без коров да коней не могу, – дразнил Илья Фаю. – Ты же знаешь, я ведь конский врач по женским болезням.

– Ладно, не придуривайся, Илья... Найдем работу где-нибудь под городом. Можно пойти в сельхозинститут, у них в пригороде есть опытное хозяйство. Тоже скот выращивают. Можно, кстати, работать и заочно учиться. Я ведь учусь зоочно в политехе. А ты что, хуже меня?! Будет у тебя высшее образование, а там, глядишь, и руководящая работа подвернется. Неужели ты всю жизнь хочешь быков кастрировать?!

– А что плохого?! Не всем же гумажечки писать, штаны в конторах протирать, кто-то должен и быков выкладывать, и навоз из под коров убирать. Молочко да мясо все любим...

– Но если тебе это нравится, то можешь и в Иркутске быков кастрировать...

– Двуногих?

– Зачем двуногих?! – раздраженно отозвалась молодуха. – В том же опытном хозяйстве...

– Примаком к тебе не пойду жить. Да я в городе от тоски сдохну, – я, Фая, простор люблю... степь...

– Там пригород...

– Одна холера.

– Но если уж в город не хочешь, давай хотя бы из вашей пьяной деревни укочуем. Ты же здесь сопьешься со своими забулдыгами.

– Не сопыюсь. Если ты не доведешь... По месяцу в рот не беру.

– А потом на неделю сорвешься... Нет, Илья, если мы отсюда не уедем, не будет у нас счастья... Вон как твой брат Степан хорошо в Бодайбо устроился. Августа – уже главный бух-

галтер в «Лензолото», сам инженерит, дом – полная чаша. По курортам разъезжают, по два раза на году. Чем не жизнь?!

– Тебе, Фая, тоже грех жаловаться. Что, на столе у нас пусто и голь прикрыть нечем?

Илья, как и вся краснобаевская родова, слыл добытчиком; хоть и любил поархидачить, – выпить чарку-другую московской архи, ежли сказать по-бурятски, – хоть и шатуном уродился, не в пример другим братьям, но семью не забывал: в амбаре висели стегна мяса, в березовых лагушках, задавленная каменными гнётами, просаливалась рыба; картошки в подполье засыпали с таким опупком, что подпольницу коленом прижимали; молоко со стола не сходило, – свою животику не держали, Илья с гуртов и ферм привозил. А получит зарплату в совхозе, либо где закалымит, деньги, пока дружки не выманили на похмелье, торопится, домой несёт. Ну, может, четвертной заначит в брючном кармашке-пистоне, чтоб Фая не нашла, поскольку, что за мужик, если у него на черный день заначка не водится. Отдаст Фая деньги и велит Таньке с Ванькой обузу и одёжу справить, чтоб не хуже других в школу ходили, – не сироты.

– А что доброго мы здесь видим?! Одни пьяные хари...

– Причем здесь пьяные хари?! – стал раздражаться и брат. – Таких харь везде хватает, и в твоём Иркутске полом... А чего доброго здесь?.. Красота, Фая...

– Красота!.. – фыркнула молодуха. – Голые улицы, коровьи лепехи на дороге, да свиньи в грязи.

– А степь, а озеро?!

– Не видел ты, Илья, настоящей красоты. Я в Пицунде отдыхала, на Черном море, – вот где красота так красота!

Илья, ерничая, гундносо напел:

– Там лимоны, апельсины, сладкое вино, там усатые грузины ждут давным-давно...

– Дикие вы люди...

– Кому что, Фая... Я на флоте пять лет отбухал, в иностранные порты заходили, потом на поезде через всю Россию колесил, но такой, Фая, красоты, как у нас, нигде не видел.

– Да-а-а, всякий кулик свое болото хвалит. А у вас болото и есть.... Нет, все же умница Августа, взяла твоего брата за шиворот и увезла из деревни. Спился бы здесь, по девкам избегался... Мне бы Августин характер...

Похоже, и Ванюшка, напряженно подслушивающий разговор, уверенный, что скоро молодуха и до него с Танькой доберется, и брат Илья разом вспомнили Августу, скуластую, плечистую карымку¹⁵, неведомо какими брусничными шаньгами искусившую и окрутившую Степана, который, по мнению деревни, уродился самым бравым в семье Краснобаевых. Высокий, сухопарый, не чета другим братьям, краснорожим, коротконогим, осадистым, да к тому же – артист, музыкант. Оборотистая, напористая карымка быстро прибрала Степана к рукам, попробовала и в доме Краснобаевых навести свои уставы, да нашла коса на камень, переломила сила силу, – свекр, и сам властный, мигом приструнил Августу, а потом и вовсе вымел поганой метлой. Но, как ни странно, Августу на то не обиделась, и даже зауважала свекра, – вернее, его крепкую руку.

– Не приведи бог такую бабу! – хоть и не видел Ванюшка брата в горничной теми, но живо вообразил, как Илья перекрестился. – Я бы такой жене на другой день после свадьбы рога обломал. Знай, баба, свое кривое веретено... Мне, Фая, боцман в юбке не нужен. На корабле всю плешь переел... Нет, Фая, я подкаблучником не буду. Этот номер у нас не пройдет. Я не брат Степан... Тут уж лучше разойтись, как в море корабли... Помню, приехал после флота в Бодайбо к Степану. Перед отъездом посидели с братом, песни семейные спели. Ну, брат мне в чемодан всякого барохлишка насовал: верблюжий свитер, брюки, полуботинки, бельишко, потом харчей подкинул: тушенки, сгущенки, кофе растворимое... И тут Августу

¹⁵ Карымы (гураны) – так звали забайкальцев, чернявых, скуластых, в роду которых были и буряты, и эвенки.

с работы грянула. «Победа» у ей служебная, водитель, – всё как у путней. Посидела с нами маленько, открывает мой чемодан, глянула и... как давай оттуда все выбрасывать на диван. Накинулась на Степана: дескать, ты у меня спросил, что положить?! Степан начал было права качать, Августа хватъ подлокотник от дивана и по башке его. Легонько, конечно, но... Брат, гляжу, весь сник и молча ушел спать в боковушку. Ну а я собрался и отвалил в заежку ночевать. Сказал ей на прощанье пару ласковых...

– Да вашей семейке не ругать бы Августу...

– Кто ее ругает?! Мать с отцом души не чают.

– Не ругать бы, а в ноженьки поклониться, что вашего Степана в люди вывела. Можно сказать, осчастливила.

– Во-во, и мать Гутю хвалит...

– А тут бы запился, загулялся...

– Почему сразу: запился, загулялся? Так уж все в деревне и пьют?!

– Да хоть поживет в достатке, по-человечьи.

– Живут они, конечно, богато, одного птичьего молока ишо нету, но что это за жизнь у Степана?! Врагу бы не пожелал. Он же перед сном топаёт строевым шагом к дивану, где Гутя спит; руку под козырек: «Ваше сковородие, Августа Николавна, дозвоьте законному супругу к Вам прилечь... приналечь...»

– Тише ты!.. конский врач... дети услышат!

– Да они уже спят без задних ног.

– Малой тихий-тихий, да в тихом омуте все черти водятся, – проворчала молодуха. – Себе не уме... Может и подслушать.

– Ванё-о... спишь? – спросил Илья.

Ванюшка хотел было ответить: «Сплю, братка...», но промолчал, лишь старательнее засопел, причмокивая губами.

– Спи-ит, как сурок.

Сердито забурчали пружины панцирной сетки, и в лад ей проворчала молодуха:

– Отстань, Илья, не лапай!.. Привык со своими... племенными телками...

– Ревнуешь? – усмехнулся Илья и тихонько, насмешливо пропел. – Ты не ревнуй, дорогая, к Черному морю меня...

– Нет, давай о деле поговорим...

Брат устало зевнул.

– Пресная ты, Фая, и сухая, как зачерствелая лепешка...

– Зато твои ухажерки – горячие ватрушки из печи. Ни стыда у них, ни совести...

– Какие ухажерки?! Кого ты плетешь?! Намантулишься, до кровати б доползти. Ухажерки... Ох, надоело мне твое бурчание. Как старая баба ворчишь... Пойду в тепляк¹⁶ спать. Душно мне здесь...

– Нет, давай поговорим. Надо же что-то решать. Я тут жить не могу.

XX

Илья занервничал, поднялся с кровати, присел на краюшек.

– Вот ты все талдычишь – кочевать, а на кого мы Таньку с Ванькой оставим?!

– Кстати, ты вечно в разъездах и не знаешь, что они мне все нервы истрепали?!

Ванюшка мстительно затаился на своем топчане, скрадывая всякое слово про него и Таньку.

– Что вас мир не берет?.. Ребята послушные...

¹⁶ Тепляк – летняя изба.

– Ага, послушные... Маленький – звереныш, не знаешь, что от него ожидать, чего он еще выкинет.

– Ванька-то?! – изумился Илья. – Тихоня... Бывало, не видать, не слышать. Сидит в уголке, из чурочек избушки ладит. Потом рисовать начал... Ох, девушка, не знаешь моих братьев – Егора да Алексея. С теми бы ты по-другому запела... Это они сейчас остепенились, а то бывало... Ладно, Степан – сызмала сердечник, потому и смирный, а Егор с Алексем, бывало, на Масленицу выйдут, дак вся братва деревенская дрожит. Попробуй поперек дороги встань... Идут, колоброды, по деревне, культурно отдыхают: кому поленицу дров раскатают, кому калитку гвоздями заколотят, либо шапку на трубу оденут, – хозяин печь растопит, весь дым в избу. Смекнет, лезет на крышу, матерится... Не-е, Ванька-то еще подарок...

– Ага, подарочек!.. – фыркнула молодуха. – Не знаешь ты своего брата. Он ведь, Илья, и на руку нечист... Третьего дня взяла в сельпо два кила чернослива, пряников, конфет, ну и припрятала, – подальше спрячешь, поближе возьмешь, – так нет же, нашел... Сегодня сунулась в буфет, гляжу: мамочки родные, мешочки-то совсем отошали, – вытаскал... Но я теперь на мешочки хитрые узелки завязала, и себе на бумажку срисовала. Чтoб видно было...

– А ты и не прячь. Выдай помаленьку, остальное, скажи, потом. Послушают.

– Этот воришка, а Танька... бестолочь. Как она еще в школе учится, ума не приложу. Ничего не соображает... похоже, на второй год останется в третьем классе.

– Не сошлись вы, Фая... Ты все норовишь таской, а надо бы другой раз и лаской. Знаешь, как им тяжело без отца, без матери... Дети же еще... Да что дети, я уж какой дылда был, а вот от дома оторвался, так первый год на флоте места себе не мог найти, – по отцу, по матери тосковал. От тоски через день да каждый день письма домой писал. Да с непривычки и служба тяжело давалась. Гоняли нас ай да ну!.. Потом уж втянулся... Ну, ладно, дорогая, пора ночевать. Утро вечера мудренее... Кстати, мы утром с Ваней на гурт едем, собери-ка нам харчишки в дорогу...

Слушал Ванюшка, надсаживая во зле душу, едва сдерживаясь, чтобы не заорать молодухе: «Ведьма!.. Мачеха!.. Еще нарошно весь чернослив слуплю и конфеты вытаскаю... А потом на кордон убегу...» Одно смирило Ванюшкин гнев: завтра они с браткой махнут в степь, на бурятский гурт. Утром Илья подкатит на рысистом жеребчике с подстриженной ежиком гривой и туго заплетенным хвостом, уложит свой сундучок со скотским снадобьем в обшитую козьими шкурами, будто игрушечную, ладную кошёвочку, приладит сбоку зачехленный баян, чтобы бурятам на гурту сыграть и спеть «Шыбырь», и полетит их кошевочка степью, будто на незримых крыльях.

XXI

– Замоталась я, Илья... Прибежишь с работы усталая, прилечь охота, а тут надо и печь протопить, и курям зерна кинуть, снега насыпать, потом ребятишкам ужин и обед сварить, а тут и стирка, чинка, глажка. А уж с ног валишься... А надо и курсовую в институт писать, и контрольные...

– Что уж, Танька с Ванькой совсем не помогают?

– На них где сядешь, там и слезешь. А что сделают, так после них переделывать надо. Лучше уж самой...

«От чо врет-то, а! – задыхался от возмущения Ванюшка. – Парни после школы на озере в войнушку играют, а я воду вози, дрова коли, стайку чисти...»

– И в кино с тобой сбегать охота, и на танцы. Мы ведь еще не старые... – голос молодухи обиженно задрожал от приступающих слез. – Почему я должна с вашими ребятишками возиться, хоронить себя заживо?! Молодость, Илья, пройдет – не воротишь.

Молодуха завсхипывала в голос.

– Не плачь, Фая... – Кровать заскрипела, – видимо, брат повернулся к молодой, приглубил ее. – Потерпи маленько. Летом ребяташек на кордон отвезу. А осенью мать с отцом в деревню вернутся. Потом и отделимся. Мне в совхозе и угол сулят, – двухквартирный барак уже срубили, крышу закрыли. К осени, Бог даст, закочуем.

– Не будет нам здесь счастья, Илья...

– Ну что ты всё каркаешь, как ворона?!

Ванюшка едва сдержался, чтоб не хихикнуть, вообразив молодуху вороной, – ворона и есть, так и кружит, зыркает черными зенками, чем бы поживиться...

– Надоела ты мне, Фая, со своим нытьем... Пошел я в тепляк спать. С тобой не выплыву. А мне вставать рань-прирань, на гурт ехать.

– Не любишь ты меня, Илья?! – обреченно выдохнула Фая.

Какое-то время молодые натушно молчали, потом Илья отозвался неуверенно:

– Но почему же не люблю?!

– Я же вижу. Не слепая, чай... Тебе бы только из дома ускользнуть, лишь бы не рядом.

– Эх, Фая, Фая, ты сама-то кого-нибудь любишь?

– Я тебя, дурака, люблю.

– Во-во, дурака... Никого ты, кроме себя, Фая, не любишь... Вот мать наша: уж как от отца настрадалась, уж как он ей нервы помотал, а душу за него отдаст, не пожалеет.

– Мать у вас... скотина бессловесная...

– Ну ты, мадам, выбирай выражения! – зловеще упредил Илья. – Тебе до нашей матери-то, как до небес. Мелко плаваешь, вся холка наголе... Ладно, не усложняй жизнь. Все будет ладом.

– Так мы, Илья, ничего и не решили...

– А что решать, Фая?! Пока ребята у нас на руках, никуда мы не тронемся... Давай спать...

Опять заворчали пружины, и опять послышался досадливый молодухин голос:

– Да отстань ты, Илья. Отпусти... Нету у меня сегодня настроения.

– У тебя его завсегда нету. Может, ты порченная?

– Будешь с вами порченой: ты где-то бродишь...

– У меня работа такая...

– А тут еще бестолочи твои... Словом, выбирай: я или они?

Илья крикнул в сердцах, поднялся и, прихватив подушку, собрался в тепляк; но напоследок жестко выговорил Фая:

– Ты, мадам, ребяташек-то шибко не притесняй. К порядку приучай, работать по дому заставляй, но если еще раз узнаю, что ты их на ночь в угол ставишь, саму поставлю. Ясно море... А насчет – выбирай, так у меня выбор простой: ты у меня без году неделя, а они брат с сестрой.

– Не любишь ты меня, Илья.

– Любил бы залюбил, да любило приостыло. Так вот, Фаина Карловна! – отрезал Илья и ушел в тепляк.

Когда захлопнулась дверь за братом, молодуха неожиданно тоненько, по-щенячьи заскулила, потом зарыдала в голос, глуша рыдания подушкой; при этом все поминала маменьку, молила:

– Маменька, миленькая, заberi меня отсюда!.. Нет мне тут никакой жизни... Маменька, родненькая, и почему ты так далеко?! Кто мне присоветует, как жить?.. Кто утешит... Маменька, прости меня, дуру, за всё... что не слушалась тебя, перечила, дерзила. Прости, маменька...

Ванюшка растерялся: душа его, вот-вот насылавшая на молодухину голову напасти-пропасти, размякла, потекла слезной жалостью; и прошептал парнишка зарок, что впредь станет

слушаться тетю Фаю: справно учить уроки, помогать по дому, не изрисовывать тетрадки, не рвать штаны на горке, не приворовывать...

XXII

С неделю парнишка был шелковый, словно молодуха подменила огольца. Уличные дружки, кинув школьные сумчонки на лавки либо курятники, торопливо пожевав, летели на озеро, где сыромятными ремешками прикручивали самоделишные коньки и гоняли кривыми сучками по льду конские шевяки, – играли в хоккей-мокей. Ванюшку кликнут, подойдя к палисаду, но тот лишь отмахнется. В первый же подменный день вычистил куричью стайку, словно языком вылизал, потом выкинул весь снег из ограды, поправил поленицу дров, наносил с озера полную бочку воды... и задумался, чего бы еще доброго сотворить. А тут и сестра, раздодоренная братом, подстирнула свое бельишко, старательно вымыла полы, встрясла и промела снегом пестрорядные домотканые дорожки; а коль Ванюшка, не дожидаясь молодухи, затопил печь, принесла из амбара мерзлых окуней, выпотрошила, вычистила и нажарила в муке.

Вечером ребятишки выглядывали в окошко молодуху, – вот придет, удивленно всплеснет руками: ишь вы какие умки, не то что другие чумки, которым лишь бы по улице носиться да по заборам шастать, одежку рвать. Все перемыли, ужин сварили, а я вам за это гостинчик принесла...

Лишь ступила усталая молодуха через порог, как Танька затрещала радостно: дескать, столь они с Ванюшкой работы по дому своротили и ужин ей стоношили. Молодуха подивилась, но, то ли ища подвоха, ничего доброго от бестолочей уже не ожидая, то ли утром опять левой ногой на половицы встала, глянула пустоглазо, отмахнула досадливо Танькину похвальбу и, молча, отчужденно поковыряв жареную рыбу, проворчав: дескать, пригорелая, ушла в горницу, села за стол писать курсовую. Но быстро сморилась, зазевала, прихлопывая ладошкой широко отпахнутый рот, роняя сморенную голову на стол; помаялась эдак и увалилась спать. Слава Богу, хоть не стала проверять уроки, тыкая ребятишек носами в тетради, где сохли фиолетовые кляксы. Ребятишки поскучнели и опять закручинились по таежному кордону и родимой маменьке... Танька сунулась было с книжкой к дремлющей молодухе:

– Тетя Фая, ни-ичо тут не пойму...

– Отвяжись от меня... тупица!

Даже не оборачиваясь, зло отпихнула девчушку и угодила по губам, отчего верхняя вспухла и прилипла к носу. Танька, вскрикнула и, зажимая в себе рыдания, отскочила к столу.

* * *

Зарекалась коза не шастать по чужим огородам... Не отошло и недели, как выветрились из озорной Ванюшкиной головенки ночные зарюки, не осилил искушения слабый человечешко; надыбал в буфете мешочки с черносливом и пряниками, ловко, на то и художник, срисовал затейливые молодухины узлы и, развязав их, вдосталь полакомившись, по рисунку и завязал.

А тут еще один грех добавился... Учительница дотошно выясняла, кто бедно живет, тому выдать катанки и телогрейки, и нищоброды угрюмо затаились.

– Что уж бедных нету? – скривилась учительница. – Все богатые?

Девчушка, что сидела с Ванюшкой на одной парте, замахала ручонкой.

– Тебя записать, Аня Байбородина?

– Нет... Вот Ваня Краснобаев бедно живет. Без отца без матери...

Ванюшка тут же плечом и локтем смахнул Аню на пол, за что был выставлен из класса. Дома еще и молодуха высрамила:

– Голь перекатная, а туда же... Лишние тебе были телогрейка с валенками...

Вечером, когда обнаружилась недостача пряников и чернослива, на пустое брюхо торчал паренек под Марксом, в сыром, заиндевелом углу и, боязливо трогая уши, исходящие жарким полымем, вытянутые, как у осла, клял... ведьму!.. мачеху!.. моля ей скорой пропасти.

Иступленно алкающая отмщения долго не отходила душа, и бродила злоба яркой брагой, до сердечной боли распирая грудь, ища русло, чтоб выплеснуться. И на другой день, усевшись в горнице учить уроки, Ванюшка вырвал из тетради двойной лист и намалевал бедную молодуху в такой обличке, в какой даже прыщавые отроки постеснялись бы малевать в безбожно исписанном и продырявленном клубном нужнике.

Со свирепым нажимом, чуть ли не вспарывая бумагу, ломая грифель, снова и снова чиня карандашный огрызок, намахал Ванюшка сухоребрую, голую бабу с раздвоенно повисшими, как у древней козы-стародойки, унылыми титьками, потом щедро накудрявил низ тощего живота, а вместо ступней изобразил копыта; мало того, волхвितка, словно ожившая, взнуздала черного кобеля, закружилась над деревушкой, испуганно приникшей к земле, обмершей в чарах волхвитских, и полетела, правя на Лысую гору, где табунится клятая нежить. С осиною талией вышла молодуха и похожей на кусачую осу. Малюя страсти, завлекаясь художным рукомеслом, парнишка утихомирился, степенно заштриховал подсвеченные месяцем ночные облака и четкие, печальные тени изб; а внизу коряво наскреб: «Наша маладуха – ветьма».

Выплеснул парнишка злобу на тетрадный лист, сунул его под книжки и, вроде успокоившись, прихватил пики, ледянки¹⁷ и уметелил на озеро.

Через день, вернувшись из школы, еще не успел раздеться, как Танька, страшно пуча свои, сызмала слезливые, скорбные глазенки, брызгая слюной, затараторила:

– Все, Ванька, тетя Фая придет, тебя убьет! Чернее тучи ходила... Ты чо натворил?! Ой, дурак, ой, дурак... Ума совсем нету. Ты чо нарисовал, бессовестный?! Тетя Фая пришла на обед, стала книжки на комод поправлять, листок и выпал. Ой, как она орала!.. На меня ни за чо накинулась... Побежала с картинкой к вашей учительке. Грозилась брату показать. Еще и он тебе всыпет... Ой, дурак!.. какой дурак!.. Убьет она тебя. И мне за тебя достанется...

Танька опустошенным кулем осела на лавку и, коль слезы у нее завсегда томились возле глаз, тут же захныкала:

– Я к маме хочу-у... К папке хочу-у... Не могу я с ней, не могу-у...

Чуя уже не долгими ушами, а заднюшкой такую жаркую баню, что лешакам станет тошно в таежных чащобах, ожидая такой правеж, после которого избяной студеной угол и ошпаренно горящие уши покажутся в радость, – Ванюшка спал с лица, стал белее снега, тряскими пальцами растегнул телогрейку и присел возле сестры. Но не столь затомило ожидание лютой расправы от молодухи и брата, сколь ожег запоздалый стыд: ох, ежели бы обернуть время вспять, сроду бы не малевал эдакий срам, либо тут же и порвал бы художество.

– Всё из-за тебя, срамца... – причитала Танька.

Брат не заревел следом за ней, но даже шикнул на сестру:

– Кончай ты реветь! Рева-корова, дай молока...

Приступавшее лихо не ослабило парнишку, наоборот, мысли обрели лихорадочную ясность и варначью остроту: как бы тут вывернуться и уцелеть?.. Ревы не реви, вой горю не пособник; никто не утешит, не оборонит, – брат, перед которым было стыдней всего, мало того что добавит березовой каши, а и крест поставит: дескать, эдакого срамного брата мне и на дух не надо. Нужно было что-то решать... и опять нестерпимо захотелось укрылится из родимого дома, обращенного молодухой в холодную кутузку, пролететь на синегривом коне степью и таежными хребтами, очутиться в желтовенцовой избе, бережно утаенной матерыми соснами

¹⁷ Ледянки – дощечки с набитыми на них самодельными коньками, сидя на которых катались по льду, отталкиваясь острыми пиками.

и листвяками, отойти в духовитом тепле русской печи, откуда мать выудит противинь с творожными и брусничными ржаными шаньгами, потом нальет в бурятские чаши зеленого чая и позовет к печеву отца, строгающего у порога, мастерающего из березовой треноги лавочку для Ванюшки.

– Убегу я, Танька, из дома... – вслух поразмыслил Ванюшка. – Убегу к мамке на кордон... Давай, Танька, вместе убежим?

– Ты чо, с ума сдурел?! А школа...

– Придем на кордон, мамке пожалуемся, что дерется, в угол ставит... Пусть мамка в деревню едет, а эту... выпрет из избы... Пошли, Танька, а? Быстренько поедим и потопам. А то скоро придет и тебя зашибет...

– Ты чо, Ванька, далёко же...

– Ой, кого там далёко?! – мужичком встрепенулся парнишка и даже подобоченился. – Мы с кокой Ваней, с браткой ездили, не успеешь оглянуться, уже и кордон.

– Заблудимся в лесу...

– Ничо не заблудимся. Я же дорогу помню. Сколь ездил... Да тут же близенько.

– Не, Ванька, я боюсь...

– Ладно, я один пойду. Пусть она тебя колошматит. А я к маме...

Привиделась и Таньке лесная заимка, как в Божией пазушке припрятанная в хребтовом заветрии, и ощутила девчушка, явственно и до слез желанно, материну ладонь на своей щеке, на волосах, заплетенных в два мышинных хвостика. Вот матушка скребет ей головушку столовиком, чтоб избавить от перхоти, вот заплетает косицы, а ласковые руки пахнут добром, молоком и теплым ржаным хлебушком.

И все же Танька не отважилась бы топать в эдакую таежную даль, но и братку одного страшно и жалко отпускать, да и привыкла уже покоряться ему, верховоду. Хотя и настрадалась уже от его вольного норова... Месяца не прошло, как плавил в плите свинец на жестяной крышке, и уж собирался вылить в деревянную формочку – указку в виде стрелочки, – вытащил щипцами крышку, но та сверзилась, свинцовые капли и угодили на голову сестре, что подсобляла на подхвате. С диким воплем полетела Танька по избе... да так на весь век и остались в волосах плешинки, выжженные родимым браткой.

XXIII

Лохматый и беспородный дворовый пес Шаман метнулся за ребятишками, радостно повиливая хвостом, обнюхивая и метя палисадники: дескать, здесь был я, пес Шаман. Выбежал кобелишко к степной поскотине и там задумчиво встал, пришибленно, виновато косясь на своего дружка Ванюшку и тоскливо оглядываясь назад, в деревню. Сколь потом не манил его парнишка, Шаман так и не стронулся, а как путники стали меркнуть в предвечерней мгле, развернулся и тихонько порысил домой.

Вот уже далеко-далеко за ребячьими спинами, на краю синеватой степи, чужеродно, неласково и редкозубо чернеют избы на отшибе села с торчащими в безветрии хвостами вялых дымов; вот уже позади степная голь и корявая береза-бобылка на увале, увешанная пестрым бурятским лоскутьем и конским волосом; вот уже брат с сестрой вошли в тревожно затаенный, предзакатный березняк, утопающий в волнистых суметах.

Долго брели они лесом, выбиваясь из сил, не чуя ног, то громко переговариваясь, бранясь, то горлая:

Взвейтесь кострами синие ночи,
Мы пионеры, дети рабочих...

Они боялись молчать, боялись остаться лицом к лицу с вечерней сумрачной тишью; пели, говорили, отпугивая страх, что вместе с закатным морозцем крался под ребячьи телогрейчишки, знобил души. А уж из торопливо стемневшей, березовой чащобы пепельным туманом наплывали сумерки, сжимая ребятишек стылými, безжалостными лапами.

– Дура я, дура, поперлась за тобой, мазаем, – захныкала Танька. – Сидела бы дома...

– Ага, в углу бы торчала...

– Не торчала бы. Всё из-за тебя, мордофоня. Мы бы с ней бравенько жили... Куда поперлась?! Мы уж, поди, и с дороги-то сбились...

Сестра брякнула то, что уже червем, исподволь сосало Ванюшкину душу, но парнишка, чтобы сомнение не одолело, не обессило, задиристо выкрикнул:

– Ничо не сбились! Сама ты сбилась... Тут уже близенько... Через хребет перевалим – и кордон...

Ребятишки вышли в широкий пойменный луг, на краю которого, судя по долгой тальниковой гриве, извивалась оледенелая, заснеженная речушка. Посреди покоса уныло торчал под снежным малахаем зарод сена в жердевой огороже. Ни вольного покоса, ни речки вроде не должно быть до самого кордона, – прикинул парнишка, и сомнение теперь уже не сосало, а по-зверушечьи грызло душу. Или был покос с речкой?.. Кажется, нет... Да, похоже, сбились с дороги, что немудрено, если ближе к лесу от санного пути к югу и северу словно сучья листовня отвливали наезжанные проселки, и беглецы замирали на росстанях, гадая, куда править. «А может, и верно идем, – успокаивал себя парнишка. – Когда с отцом в деревню ехали, вроде и широченное поле видел, и речку вброд переезжали...»

Когда миновали заледенелую речушку и ступили в лес, потемки на глазах сгустились в темь чернее сажи, и смерк даже придорожный ерник, что ломают на метлы; и пошли брат с сестрой, ощупывая проселок катанками, но заступая и заступая в рыхлый сугроб. Кусачий мороз жег щеки, уши, и ребятишки, трясаясь в ознобе, терли их овчинными варьгами.

Выбившись из сил от страха и растерянности, опять занюжила сестра:

– Привел куда-то, паразит. Говорила, что по другой дороге надо... Лучше бы дома сидела...

– Да не вой ты!.. – шуганул Ванюшка сестру. – Тут уже малехо осталось. На гору подыдемся... – парнишке приглянулось, что темь впереди вздыбилась хребтиной, – спустимся, вот тебе и кордон.

– Пропадем в лесу. Тут, поди, и волки, и медведи...

Хотя небо не прояснило, не высунулся ясный месяц и не проклюнулись звезды медным просом, но откуда-то – может, от снега – стал навеиваться призрачный, покойничьи-голубоватый свет. В полной, струной натянутой тиши ребятишки переговаривались шепотом, но громко, на весь лес, скрипели на отверделом снежном насте ребячьи катанки; и вдруг послышался и скрип еще чьей-то вкрадчивой поступи. Ребятишки, не дыша, словно под водой, обмирали, затихал и тот, кто незримо крался следом, но стоило им тронуться, как опять, все ближе и ближе слышались чьи-то настигающие шаги. И вдруг – накаркала сестра-ворона – проселок на излучине заступило чумазое чудище и, расшеперившись, ловяще разведя лапы, медвежало покачиваясь, пошло на ребятишек. Танька пронзительно заверещала, бросилась назад, тут же и Ванюшка, не помня себя от страха, кинулся следом.

Они бежали, оскальзываясь, падая, барахтаясь в снегу, вздымались, чуя уже спинами тяжелое, сопящее дыхание, слыша звериный рык; и, выбившись из остатней моченьки, пали среди дороги и завывли в голос, обреченно сжавшись и зажмурились, поджидая чудище. Но зверь не спешил задрать ребятишек, залег в придорожных ерниках и что-то выжидал...

Долго ли коротко ли брат с сестрой выли, скулили, у Ванюшки из горла, обметанного сухостью, уже вылетал лишь сип, при этом терли горящие на морозе щеки и уши; но потом теплый, ласкающий сон стал кутать ребятишек в глухие пуховые шали; страх угас, мороз отмяг,

и Ванюшка увидел: вот матушка протопила русскую печь, плеснула теплой воды в корыто и, пихнув в него парнишку, намылила и пошла проворными пальцами скрести голову; затем стала поливать из кувшина...

XXIV

Влажно-синее, вешнее небо, в глубинах которого оживал, теплел жалю зовущий взгляд, и, пока еще невнятно, оплываясь эхом, звучал утешающий, манящий голос; а встречу певучему, ангельскому гласу, встречу ласкающему взгляду плыли жаворонками две светлые души, вздымаясь выше и выше по витой незримой лестнице; и они уже зрели из синевы свои безмолвные плоти, стыло темнеющие посреди заснеженного березняка... но тут, настойчиво сбивая нежное пение, вдоль проселка вдруг явственно зазвенел поддужный бубенчик...

Не видели бедовые, как, слепившись из снежного сияния, бреньча колокольцем и удилами, явилась сивая лошаденка, из саней выскочил Ванюшкин крёстный, кока Ваня, и подбежал к ребятишкам. С горем пополам, шлепая по щекам, разбудил их, уложил в сани, потом быстро запалил на дороге костер, приладил к огню котелок, набитый снегом, а как ожил и оттепел перелесок живым огнем, и отползла темь – злая нежить, снежной порошей, до жаркого красна растер беглецам носы и щеки, руки и ноги, после чего напоил горячим чаем с пряниками.

– Куда же вы, бедалаги, лыжи наострили? – морщась от жали, пытал кока Ваня.

– Это всё Ванька, дурак, сомустил, – опять захныкала сестра. – Говорит, пойдем к мамке на кордон.

– Дак вы, ребята, в другую сторону подались, – засмеялся кока Ваня, чтобы подбодрить ребятишек. – По этой царской дороге так бы в Москву и утопали, за тыщи верст...

Ванюшка вспомнил: когда на чернолесных северных склонах пыльными бараньими овчинами еще серели проплешины снега, а на солнопеках белели, синели, желтели вешние цветы-прострелы, отец с кокой Ваней, прихватив и малого, чистили деляны подле старого московского тракта, что зарос глухим осинничком; собирали сучья на вырубленной деляне, стаскивали в крутые вороха, а потом сжигали. Отец, абы раззадорить Ванюшку, подмигивал: «Убей, сынок, почище, – здесь царь поедет, а как приметит, что порядочек на царской дороге, так похвалит да, глядишь, и гостинчиком отпотчует. Шанюжку брусничную сунет. Цари они, паря, добрые, а шанюжки у их сдобные...» Ну, тут парнишка чуть не бегом таскал сучья в костровища, ясно видя, как на тройке катит царь с короной на русых кудрях. Лишь бы не прохлопать ушами, укараулить, хоть глазочком на царя глянуть...

– Вот есть же Бог, ведь думал же в деревне: выплусь у деда Кузьмы да утречком и тронусь домой, – дивился кока Ваня, – а вроде голос был: дескать, езжай, Ваня. Да... Ну что, поедем ко мне на зимовье, а завтра чуть свет и утортаю вас к мамке...

Тут сестра, трандычиха, затрещала про молодуху, про срамную Ванюшкину картинку, про черное чудище, что гналось за ними по дороге... Не дослушав, кока Ваня уложил в переметную кожанную суму котелок, кружки, присыпал снегом костерок, еще шающий углями, и родичи тронулись с Богом. На излучине пути кока Ваня, засмеявшись, показал рукой на срезанный небесным огнем листвяк, растопыривший над проселком толстые сучья-лапы:

– Не эдакое ли чудишо за вами гналось?

– Не-а! – испуганно выпучила глаза Танька. – То бежало за нами, сопело...

– Медведь, однако, шатун... – смекнул Ванюшка. – В берлогу не лег, вот и шарится по тайге.

– Ага, медведь... – невесело улыбнулся кока Ваня. – Что это вы, ребята, с молодухой-то не можете ужиться?

– Злая шибко, – нахмурился Ванюшка. – Никакого житья от её. Ведьма...

– Нельзя так, Ваня, – грех... Э-эх, ребятки-козлятки... Злая... Да и вы-то, поди, не сахар, не медовы прянички. Поневоле злой станешь.

– Я-то ничо, это Ванька все придушивал. То уроки пропустит, то пробегат, дома не помогут...

– То-то и оно. Ей ведь тоже несладко. Запурхалась, поди, с вами, вот и озлилась. А вам бы с ей ласково, послушно, и она бы с вами ладом. Худое слово и добрых делает худыми, а слово доброе и худых делает добрыми. Во как Святые Отцы говаривали...

На лесной заимке Иванова хозяйка Дулма, молчаливая степнячка, хотела усадить ребятишек за стол чаевать, но те уже валились с ног, – намаялись, намерзлись, страху натерпелись, – и она тут же уложила их на овчинные дохи подле своей детвы.

Утром кока Ваня запряг Сивку и повез Ванюшку с Танькой на кордон к отцу, матери, для чего снова вернулся в степь, на ту коварную развилку, где беглецы сбились с пути. Когда миновали леса и елани¹⁸, вползли на проплешистую седловину хребта, когда внизу снежным долом отпахнулась приречная падь с лесничьей избой на краю, остроглазые ребятишки тут же высмотрели, как встречь им от реки устало плетется Гнедуха, и мать, стоящая в санях, пристально озирается по сторонам. Ванюшка с Танькой обрадовались, весело заерзали в розвальнях, но когда мать подъехала ближе и они углядели ее лицо темнее ночи, с глубоко и скорбно опавшими глазами, да заметили еще и тальниковый прут в руках, тут же съежились за спиной коки Вани. А тот не поспел и словушко приветное вымолвить, как сестра не по летам быстро соскочила на дорогу и кинулась с прутот на сына, – прознала уже от кого лихо привалило. Парнишка выкатился из саней, хотел было дать дралу в лес, но тут его настиг и ожег сквозь телогрейку свистящий прут. Мать бы измочалила талину о сыновью спину, да кока Ваня унял сестру, и та, обессиленная переживанием, пала в сани, пригребла к себе Таньку и запричитала сквозь рыдания:

– От чо, ироды, удумали, а! За тридцать верст поперлись на ночь глядя... От чо, варнак, вытворят... – мать покосилась на Ванюшку, который ревел в придорожном сумете. – И девку сомустил... Илья приезжат в потемках, говорит: «Убежали на кордон...» Видели мужики, как они от деревни к лесу побрели. Тоже уж, не могли образумить... Илья по дороге проехал, всё проглядел, – нету...пропали. Но тут я чуть в обморок не упала... «Езжай, – говорю, – Илья, назад в деревню, ищи. Может, в зимовье забрели, либо в копну сена залезли...» А сама места найти не могу. За ночь глаз не сомкнула. Уж и молилась, и крестилась, уж и глаза все повыплакала, уж и всё передумала, голова на раскоряку: то ли замерзли, то ли где блудят... И отец, как на грех, умотал на рыбалку с Гошей Хуцаном. Ладно, хоть кобылу оставил, на Гошином коне уехали на Щучье озеро... А утром чо, корову подоила, сенца кинула, Верку покормила, наказала, чтоб из избы не вылазила, да и...

Мать не договорила, прислушалась, – из-за поворота послышалось бряцанье узды, громкое пофыркивание коня, затем собачий брѣх; и вдруг лихим клубком выкатился Шаман, всех оббежал, счастливо накручивая хвостиком, и тут же налетел на плачущего дружка и, лизнув ему нос, тут же повалил в снег. Илья, выбравшись из обшитой шкурами, ладной кошевки, глянул на братку тяжелым взглядом, протяжно вздохнул, покачал головой, потом за руку поздоровался с Иваном Житихиным.

XXV

За столом, когда сытых ребятишек турнули в горницу, мать поразмыслила вслух:

¹⁸ Елань – лесной луг.

– Надо, однако, в деревню перебираться. Чо же там ребятишки будут одни бедовать?! Зиму бы дотерпели, летом – сюда, а уж по осени кочевать надо. На будущий год и Верку в школу отдавать...

– Ясно море, надо вам домой кочевать, – согласился Илья. – А мне к лету угол дадут. Начальство сулило... Новый барак рубят, уже под крышей. Так что мы с Фаиной Карловной...

Мать исподлобья глянула на сына:

– Ты, парень, тоже не придуривай. А сошлись, дак и живите ладом, по-божески. Хва, поди, гулеванить-то.

– Фая в Иркутск манит, а мне неохота...

– Верно, – поддержал его Иван Житихин. – Чего попусту дергаться?! Тут все родно, все привычно, а там бог знат какие фортеля жизнь выкинет.

– Во-во, шибко нужны мы в городе, деревня битая.

– Хвали заморье, а сиди дома – надежнее. Так что, Илья... Шыбырь, даже и не сомущайся...

– Я чо, Иван, и талдычу ей: прижми, говорю, терку и не трепыхайся. В деревне жили, в деревне жить будем, в деревне и похоронят...

– Кого буровишь?! Окстись! – мать привычно перекрестилась, обернувшись к божнице. – Похоронят... Думай своей башкой, кого плетешь – мать постучала по непутной Ильяхиной голове. – Долго ли беду накаркать...

Выманил Илья у матери заначенный спирт – таила поясницу растирать – и, запалив керосинку с протертой до незримости стеклой, выпил с Иваном за мать, потом развернул прихваченный из деревни баян, и в глухой лесничьей избе, непривычная ей, хмельно и протяжно закачалась слезливая, застольная старина:

Умру-у, в чужой земле заро-оют,
Запла-ачет маменька моя-а.
Жена найде-от себе друго-ого,
А ма-а-ать... сыночка никогда-а...

– По мне лишь бы чадушки мои счастливо жили, по-божески, а самой уж ничо не надо, – прослезилась мать под сыновью песнь.

– Достались тебе, Ксюша, ребятишки, – Иван обнял сестру за опавшие плечи. – Это кому сказать, не поверят: одиннадцать раз с брюхом ходила, троих малыши оплакала, пятерых в войну одна растила... Петро воевал, потом два года в отсидке... И теперь еще трое заскребышей...

– Иной бабе телята, а мне ребята... Да, Ваня, уж вроде и вся моченька вышла. Не подыму, однако, малых...

– Подымешь... Ишо и внуков будешь нянчить. Оно, конечно, испила ты, сестрица, горьку чашу. Но и нету счастья без дождя и ненастья... А и сладкая чаша твоя, Аксинышка, – исполнила свое бабье назначение, воздаст Господь милостивый... Да и будет кому на старости лет стакан воды подать...

Ранним утром Ванюшка видел, как прощались с Ильей, который уже сидел верхом на жеребчике: кока Ваня в нагольном полушубке, почесывая грудь, зябко потряхивая плечами, дымил на крыльце махру, а мать, уцепившись за стремя, печально глядя на сына, молила:

– Ты уж, Илья, Фаю-то жалея... Коль уж сошлись, дак и живите друженько, по-руськи, по-божецки. Не обижай...

– Ты, мама, за нее не переживай, – сама кого хошь обидит.

– Лишний раз не перечь ей.

– Да я, мама, шибко-то и не перечу, но и... под каблуком жить не буду. Я не брат Степан...

– Ой, беда с тобой, Ильюша...

– Ничо-о, мама, ничо. Живы будем, не помрем, и станцуем, и споем... Ну, я поехал.

– С Богом, сынок, – мать перекрестила сына в дорогу. – Да шибко-то коня не гони – неровен час, скинет. Ишь урость-то какая...

Илья пустил жеребчика легкой рысью, но посреди поля вдруг прищпорил, и конь перешел в лихой намет.

– Тьфу ты! – досадливо сплюнула мать на дорогу и заплакала. – От ить чо творит, а! Уж не малый, поди, а все бы казаковать. Ох, доскачется, однако... помилуй, Господи, раба твоего... – мать побожилась на светлеющий восток.

XXVI

Все же ночная кукушка перекуковала дённую, через месяц сдернула Фая мужика с насиженной кочки, скovyрнула из родного гнездовища ...видно, случай с ребятишками переполнил чашу ее терпения... и в родительскую избу, покинув рыбацье займище, въехала сестра Шура со своим рыбаком Фелоном. А Илья... Илья затосковал в иркутском пригороде, куда молодые уочевали; и, скучая по отцу-матери, по землякам и степной воле, по раздольным песням, томясь выстуженной семейной жизнью, пуще загулял; а вскоре, как сам предрекал и накаркал, разбежались они с Фаей, как в море корабли. Илья бы ее сроду не бросил, не та порода, не тот нрав, век бы страдал и бабу мучил, но та сама качнулась к другому мужику, который оказался ей, видимо, в пору.

Проплывут годы, вдосталь нахлебавшись и своей полынной судьбы, наплодив и ребятишек, Иван уже вспоминал Фаю, не скрипя мстительно зубами, но – с покаянной виной и поклоном: не зла желала, к порядку приваживала, без коего хоть семь пядей во лбу, ничего путнего не сотворишь, а то и хлеще того, под пьяным забором окончишь век. И жалел Иван бедную молодуху: шалый брат, чужие ребятишки с непривычным ей, горожанке, вольным деревенским норовом.

А брат Илья, уже на весь короткий, хмельной и заполошный век сойдясь с деревенской учительницей, тихой и безропотной, кочевал по Забайкалью, не пуская густых и крепких корней в степную твердь.

Похоронная весть нашла Ивана в осеннем Иркутске, где тот учился на журналиста... Табун дикошарых коней объездил Илья на своем веку, и от коня же погиб; либо лончак попался уросливый, либо уж навык выпадал из похмельно тряских рук, но так или иначе, сбросил мужика в намете халюный жеребчик, будто жизнь выкинула на ветренном скаку да прямо на убитую до камня, степную дорогу, где и утихла неприкаянная братова душа. Девять дней она витала посреди живых родичей, денно и ночью тревожа их покой; вот тогда Иван, исподтишка сочиняющий побывальщины, на горьком и любовном выдохе написал в потайном дневнике...

* * *

«Не верю я, не верю, что отныне и довеку брат будет жить лишь в моей тоскующей памяти... Вышло у Ильи как в песне, которую он, томимый предчувствием, частенько пел:

Умру, в чужой земле зароят,
Заплачет маменька моя.
Жена найдет себе другого,
А мать сыночка никогда...

Хотя вместе с братьями, сестрами отваживался с матерью, как еще не померла возле сыновьей домовины, хотя и малевал разведенным зубным порошком на черной ленте номинальные слова, я сроду не поверю в смерть брата; мне кажется, что Илья, шатун по натуре, опять куда-то далеко-далеко убрел, но скоро мы встретимся, обнимемся; брат напоит меня холодным молоком из погреба, но, может, на радостях и чарку поднесет, а потом возьмет в руки баян, голосисто разыграет и густым басом, по-степному протяжно затянет свою родимую:

Сибирь, Сибирь, люблю твои снега,
Навек ты мне, родная, дорога.
Моей ты стала судьбой,
Нельзя расстаться с тобой...

Я верил, наши стежки-дорожки еще сольются, мы встретимся с братом, а то, что видел его навечно спящим среди пышно угасающих цветов и тягостного молчания братьев и сестер, посреди надсадных стонов матери, пережившей сына, – это ускользало из памяти, не приживалось: слишком уж брат, деревенский коновал, был живой и потешный, слишком уж непредставимый покойником. Иному от роду двадцать два года, и никакой хвори, а хоть завтра отпелвай, – едва теплится унылый дух, а брат любил жить.

В похоронное утро старинное село, где Илья обрел вечный покой, затянул морозящий дождь; степные увалы покрыла серая печаль, и мне вспомнилось материно: “Наше счастье – дождь и ненастье...”; но к полудню вдруг всполошился ветер-верховик, порвал пепельную наволочь и засинели высокие осенние небеса, и солнце заиграло на умиротворенном братовом лице, тепло осветило разверстую могилу...

Брат мучился, что не давал ему Бог детишек; но перед его гибелью жена, терпеливица и страдальца, безропотно кочевавшая с Ильей по степным деревенькам, неожиданно понесла, а, как отвели полгода, вскоре и родила дочь... братову дочь, мою племянницу.

Нет, Илья не погиб, а то что восточку не шлет, так писать лень, смалу не приважен бумагу марать. Укочевал в глухую деревеньку и живет себе поживает, добра наживает, но мы встретимся, мы непременно встретимся... а как же иначе?!

Я приеду на зимние каникулы в ясную, тихую деревеньку, в оттепельный день, когда черемуха в палисаде притуманится снежным куржаком; запряжем мы в кошевку резвого жеребца, туго заплетем ему хвост, и поплывут наши сани по сырому и скользкому, искристому насту, и, как в детстве, закружится перед глазами забайкальская степь, слитая с небом... А вот уже и вечерок вечерается, и тишь кутает неземная; вот уже в сероватых сумерках приманчиво тепло и сонно проклюнется свет в далеком окошке, – бараний гурт; вот уже видно, как чабаны-буряты и ребятишки всем гамузом высыпали из деревянной юрты и, жмурясь, тревожно вглядываются в нашу подводу: кого несет на ночь глядя?.. Брат, как и было в моем дальнем малолетстве, сует мне вожжи, подхватывает баян, с которым сроду не разлучается, и, лихо развалив меха, начинает играть, потом зычно, перепевая скрип полозьев и стукаток копыт, затягивает:

Сибирь, Сибирь, люблю твои снега,
Навек ты мне, родная, дорога...

Чабаны широко улыбаются, глаза их хитровато и радушно истаивают в отливающих медью, скуластых лицах: Илья-шыбирь едет баран лечить...

Нет, и по сей день не верится... Он живет в далекой деревне, и нам некогда встретиться, дорога не ложится; но вот мы съедемся в родном Сосново-Озерске и, как было давным-давно, когда я пешком забредал под стол, уплывем на рыбалку аж под самый дальний берег, кудряво поросший боярышником. “Весла на воду!” – по-боцмански гаркнет себе брат, и со звонким

журчанием, резким подергом хлестко раскатится наша узкодонная кедровая лодка, едва касаясь волн горделиво задранным носом.

Осадистые, мускулистые ноги брата, перевитые корнями жил, бугрятся, когда он, откинув весла, упирается ступнями в залитую бурой смолой дугу; а я, опять же как в детстве, кутаюсь в материну курмушку, – телогрейку, уютно пахнущую молоком, сеном и назьмом, и все равно мне зябко, и я передергиваю плечами от призрачно наплывающего, клочкастого тумана. Брат, песельник, чтобы согреть меня, подмигивает: “Терпи, моряк, – капитаном будешь”, – и затягивает флотскую:

Гонит волна штормовая,
В дальние дали маня,
Ты не ревнуй, дорогая,
К Черному морю меня...

Вот уже вкатили в чайий базар, торопливо и азартно заякорились, наживили удочки... и вот уже зачинный, лопатистый окунь, наяривая хвостом, пошел ходуном по лодке... потом – другой, третий... а уж выплывает из степи медноликое светило. Окунь отходит, утомленные удочки дремлют на борту, тогда Илья, подняв якорь, веслит к берегу, где разведет жаркий, недымный костер и будет печь на рожнях окуней, варить чай. И опять раздольно и голосисто летит по-над самой водой в дымно-алой заре голос Ильи:

Прощай, любимый город,
Уходим завтра в море,
– вольно и гулко выводит Илья. —
И ранней порой,
Мелькнет за кормой,
Знакомый платок голубой...

Ванюшка, не в силах устоять перед напором песни, увесистой, как штормовая волна, пробует подтягивать бреньчащим голоском.

Нет, Илья жив, такого не сломишь, он еще отзовется, непременно откликнется... как же иначе?!»

Но горе горькое, запечатленное в сокровенном Ивановом дневнике, грянуло после, сейчас же мальчишка стоял посреди заснеженной голубоватой тайги и, задумчиво глядя вслед ускользавшему брату, вяло гадал, как жить дальше? Рядом плакала мать, прижимая к себе девчонок, а из черных лиственничных вершин всплывало красное солнце.

Часть вторая

Не попомни зла

I

Иван Краснобаев учил свою дочь Оксану уму-разуму и чуял, что у чадушки в одно ухо влетает, в другое вылетает, – психовал и даже замахивался в сердцах.... В кочкастом ли таежом распадке, где брали голубицу, и Оксана, быстро сбив охотку, отворачивалась от ягоды, куксилась, облепленная комарами, и до времени просилась домой; в сухой ли степи, белеющей низкорослыми ромашками, когда брели в деревню с полными ведрами голубицы и уморенное чадо хныкало, садилось посередь дороги; в лодке ли на озере, где ловили окуней на короткие

уды и дочь шалила, упуская поклевки, и сама чуть не падала в озеро, – в таких случаях Ивана вдруг обжигала злоба, и, ослепнув от сладостной и нестерпимой досады, орал на дочь, вскидывал руку беспamięтно, пуще разжигаясь испуганным и непутевым лицом Оксаны, но... вдруг солнечным роем на почерневшем избяном срубе виделось ему свое детство, – Господь Мироносный с неба ли синего, из желтых свечовых сосняков, с приречных лугов, из озерной глади являл глазам это коротенькое видение, заслонявшее собой дочь, – и вознесенная Иванова рука смущенно опускалась, после чего он мучительно искал удобного случая, чтобы повиниться перед Оксаной, приласкать, пожалеть дочурку.

Поминался в таких случаях и отец, Царство ему Небесное; слышалось: тихо, исподволь, потянул родимый «ямщика», повел с хрипотцой помыкивающий голос в забайкальскую степь, где ни деревца, ни вербочки, ни тепло-желтого огонька, но с шуршанием лижет дымная поземка-поползуха синюю и печальную голь-голимую, теребит ковыль на буераках, тащит в мутную прорву клочки перекасти-поле, да поскрипывают, коротко взвизгивают полозья саней.

Бывало, слушая и переживая ямщичью печаль, что звучала сама по себе, с протяжной и улаждающей кручиной вздымаясь из памяти, оживал перед обмершим взором февральский день из далекого-далекого детства, когда сретенская оттепель зажгла снега и они заиграли искрами слепящими глаза.

II

Поехали они тогда по жерди для прясел – отец собрался поновой городить огород, обновить его свежим тыном; старый отрухлявел, качался и валился, будто на развезях, и держался на тряпичных подвязках да на добром слове; и пакостливые деревенские иманы со своими юркими козлятами шуровали сквозь тын, раздвигая его рогами, или скакали через верх там, где прясла пьяно вышатывались в улицу и клонились к зарослям лебеды и крапивы. Забравшись в огород, иманы жадно накидывались на картофельную ботву, стригли ее, чисто саранча, пока их не гнала в шею мать или маленький Ванюшка, с ревом бегая по картошке, кидая сухие комья земли. Обычно долго металась ошалелые иманы вдоль тына, со страху не видя свой лаз, доводя Ванюшку до яростных и отчаянных слез.

– Н-но, камуха¹⁹ их побери, а!.. адали Мамай прошел! – серчала мать, горько осматривая порушенные гряды, и тут же кидалась на отца, ворчала заглазно: – Вот отинь-то²⁰, а!.. Вот леньматушка! – все ему некогда, все у него руки не доходят новый тын поставить. На одних соплях доржится... – мать затыкала прорехи случайными кольями, прикручивая их к тыну пестрыми вязками и ржавой проволокой. – Да разве ж это иманов остановит?! Ох, и навязалась же эта пакость на мою шею, прости Господи. Верно говорят: хошь с соседом разлаяться, заведи иманов. Везде пролезут... Уж хоть бы собрался наш Мазайка, – так иной раз от досады дразнила мать отца, – да хоть бы мало-мало подладил тын, а то уж замоталась в труху с этими иманами...

И вот решил-таки отец обновить городьбу, а старый тын вместе с пряслами пустить на дрова, и мать по этому поводу качала головой, недоверчиво улыбалась, с притворным испугом округлив свои и без того большие, навывкате глаза.

– Н-но, дети, беда-а – в огороде лебеда, – косясь в горницу, где отец чинил сети, подмигивая, шептала своим девкам, пятилетней Верке и девятилетней Таньке. – Н-но, дети мои, однако, погода переменится, дождь зарядит посередь зимы, – ишь как папаня наш раздухарился. И в кои-то веки...

Но прежде, чем браться за тын, нужно было заготовить листовяничных жердей на прясла, а после и осинника на тычки, – вот отец и наладился в ближнюю таёжку. Собрался с вечера,

¹⁹ Камуха – нечистая сила.

²⁰ Отинь – домовый, ленивый.

а за ужином, будто ненароком, будто просто так, для разговора, спросил своего девятилетнего сына:

– Ну чо, Ванька, в лес поедешь?

От того, что отец, обычно хмурый, неговорливый среди домочадцев, а по пьянке буйный, куражливый, заговорил с ним, как с ровней, да еще и позвал в таёжку, сын тут же подавился горячей картошкой, выпучил глаза и закашлялся. Мать сердито похлопала его по спине, сунула кружку молока запить и накинулась на отца:

– Не дури, папаня, не дури, – застудишь парня. В снег там по уши залезет, полны катанки начерпат, да так с мокрыми ногами и поедет. Дивно ли время в жару валялся, едва отвадились, да и по сю пору сопливет.

– Кто сопливет?! – взвыл возмущенный парнишка, обиженно шмурыгая сырым носом.

– Во-во!.. Пойди под умывальник, выколоти нос. А то ишо и в тарелку уронишь...

– Вдвоем-то веселей, – дразнил отец Ванюшку, – да и подсобил бы. Здоровый уже, надо к работе приваживать.

– Ничо-о, – замахала руками мать, – вот маленько оттеплит, и съездите. Еще успеет наездиться... Завтра, чего доброго, еще и запуржит, заметелит, – кот наш половицы скреб.

– Дак ежели старый, из ума выжил, вот скребет... на свой хребет.

– Это чо мы?.. – пытливо прищурилась мать. – Третьего же дня Сретенье Господне отвели?... Во, самые сретенские морозы и затрещат.

– Пошто?! Старики и так говорили: Сретенье – зима-лиходейка с красным летом встретила, жди сретенскую оттепель.

– Не бери его, отец. Простудится... опять издыхать будет, потом отваживайся с ним. И школу пропустит. Он же вон какой неженка у нас.

При слове «неженка» сестра Танька хихикнула прямо в Ванюшкино разгоревшееся лицо и показала язык; тут же подпарилась к ней и меньшая, Вера, залилась смехом, толком и не разумея, над чем потешается. Ну да той лишь палец покажи... Старшую Ванюшка пнул ногой под столом, а на младшую так зыркнул из-под осерчалого сведенных бровей, что та отшатнулась, как от зуботычины, и, вжимая головенку в плечи, испуганно и немигающе глядела на брата, готовая удариться в рев.

– Ма-а-а... – захныкала старшая, вся сморщившись остроносом, синюшным лицом, открыв рот с настырно прущими вперед зубами, – ма-а-а... Ванька опять дерется, опять пинатся...

– Я те подерусь, мазаюшко, я те подерусь! Ложка-то, вот она! – мать погрозила стемневшей деревянной ложкой, с которой давно уже слизали лаковую роспись и объели края. – Мигом по лбу походит, вылетишь у меня из-за стола, как пробка... А ты не реви, не реви!.. Распустила нюни, ревушка-коровушка. Голова уж от тебя ноет... Кобыла вымахала, а все, как маленькая, нюнишь. Может, титю дать?!

Услыхав про титю, Вера, хотя и обиженная братом, хотя и наладилась реветь, тут же залилась дребезжащим смешком словно бубенчик зазвенел.

– А то бы пусть поехал, – не то всерьез, не то лишь ради застольного разговора тянул свое отец, задумчиво попивая горячий чай, забеленный козым молоком, полотенцем вытирая со лба густую испарину. – Одной-то ездкой не управиться, – много надо жердей на огород.

Ванюшка перестал жевать картошину, смотрел в закрытое ставнями окошко, в котором, как в зеркале, чисто отражались отец, мать, сеструхи и бледный лепесток огонька керосиновой лампы.

– Да у него и одёжи путней нету – все на горке спалил в труху, и катанки худые, подшивать надо. Всё, как на огне, горит.

– Да я же!.. я же собачью доху одену – в казенке висит! – задыхаясь от досады, со слезами на глазах вскричал Ванюшка. – А на катанки пимы сохатинные одену... Все равно поеду, вот

увидите... Все ездят и ездят, а я один дома сижу... Нетушки, все равно поеду, вот-ка. Кешка Шлыковский уже сколь раз с отцом по сено ездил, а я чо рыжий, да?! Поеду!

– Прижми свою терку, пока не стер, – заворчала мать. – Как стайку корове почистить, дак тебя днем с огнем не найдешь, а тут ишь заезозил, егоза.

– Все равно поеду, вот!

– Ладно, ладно, поедешь, – мать, наливая чай из самовара, незаметно подмигнула отцу. – Но сперва пойдя да нос высмаркай об угол, а то накопил вагон да маленьку тележку. Ежели там в лесу-то сопли распустишь, мигом нос отморозишь. И будешь без носа... вон как дед Филя. Тоже в лесу отморозил, тряпочкой теперь подвязывают...

Танька – все ей неймется, все ей охота подсмеяться над братом, – тут же вообразив Ванюшку безносом, с черной повязкой поперек лица, похожим на старого рыбака Филю, опять захихикала, укрыв рот ладошкой, на что брат лишь покосился на сестру и крутанул пальцем возле виска: дескать, смех без причины – признак дурачины. Зато мать, не утерпев, достала ее ложкой по лбу, и Танька пулей вылетела из-за стола. Из горницы послышался глухой щенячий скулеж, – боялась девка реветь в голос, мать в сердцах могла и сырым полотенцем отвозить.

А Ванюшка, шумно высморкавшись под умывальником, докрасна растерев нос полотенцем, вернулся к столу.

– Ага-а, обманываете: сами говорите, а сами потом не пустите.

– Возьме-от, возьмет, – отмахнулась мать, укладывая подорожники в холщовый сидорок, – шмат сала, ржаные лепешки, четвертинку плиточного чая да горстку колотого сахара. – Иди перевертывайся, спи, постель я вам с Веркой наладила, а то проспишь утром.

III

Спал Ванюшка или дремал, Бог весть, но если и спал, то одним глазочком, другим – скрадывал: как бы отец без него не отчалил; и сон был похож на февральский день, призрачно белый, короткий, с воробыный скок, и лишь рассвело, лишь засинел снежный куржак на окошках, увидел парнишка сквозь полусон, – сквозь березнячок и пушистые снега с цепочками заячьих следов, – как мать с отцом на цыпочках пошли из горницы в кухню и, запалив керосиновую лампу, вкрадчиво зашептались.

– Можно было взять, промялся бы маленько на свежем воздухе, а то чо все парится да парится в избе, – толковал отец, растапливая печь.

– Ага, жди, будет он париться в избе! День-денской на улице палит, не присядет. На горку кататься ускочит, дак и домой не доревешься. А ночью кхы да кхы – весь закашлится.

– Ну и вот, чем лодыря-то гонять, пусть бы лучше съездил, подсобил маленько.

– Не, не, не, – видимо, замахала мать рукой. – Лесина начнет падать, комлем взыграет, – он же, непуть, тут же сунется под ее. Не, не... Сопли морозить... Да и помочи-то от него, как от козла молока. В ногах будет путаться, мешать. Пусть хошь в выходной отоспится, а то запурхался с этой школой, совсем не высыпятся. День проносится, вечером – уроки со слезами, а утром хоть вожжами подымай. Ничо-о, вот потепле будет – еще съездит.

– Смотри... а то по радио вроде бы оттепель сулили.

– Да наше радио соврет, недорого возьмет. Оттепель, дожидайся, ага... Я ночью еще нарошно выходила глянуть: новый месяц еще не родился, а у старого деда сережки висят – опять на неделю завьюжит. И звезды к морозу пляшут... Пусть, отец, спит, не буди его.

Но Ванюшка, не поджидая, чем завершится шепоток отца с матерью, суетливо тянул на себя припасенную с вечера одежду; и в темноте, да к тому же спросонья, не мог путем одеть штаны, спылу запихал ноги в одну гачу; потом, кое-как разобравшись со штанами, боясь опоздать, наперекосяк застегнул пуговицы на рубахе, обул катанки на голу ногу, и, взъерошенный, выскочил на кухню.

- Здорово ночевал, – засмеялся отец, глядя на сына, впрочем несколько не удивившись.
- Явилось, чудечко на блюдечке, – невольно улыбнулась и мать.
- Переобуйся хоть да застегнись путем... работничек.

IV

В таежку налегке Гнедуха трусила убористой рысью; из-под копыт прямо в сани, а другой раз и в лицо сидящим смачно летели сбитые ошметки снега, пылила колкая поземка; но будто не чуяли этого отец и сын: Ванюшка дремал, укачанный в санях, – все же поднялись ни свет ни заря, – отец задумчиво, чуть слышно напевал. Ловко поджав под себя ногу в ичиге, сидел в передке саней и, даже не шевеля вожжами, да и не видя сейчас самой кобыленки, прокуранным, уютно-печальным голосом в лад с подрагиванием саней сипло выводил на степной простор горемыку «ямщика», выводил из своего далека, обычно глухо припрятанного и полузабытого в душе. И не дыбилась из песни, как радостно чуял Ванюшка, пьяная, злая тоска, – сквозило лишь томление, легкое, светлое и безбрежное словно голубоватая утренняя степь да призрачно текущая через проселок, седая поземка. Отец, кажется, толком и не слышал, что напевает, лишь чуял отпахнутым сердцем; а что же нынче томило его душу поверх песенных слов, что явилось обмершему взору посреди степи? – он и сам, наверно, не смог бы ответить. Может, поминался дед Краснобай, Богу лишь ведомо когда и убредший из Псковщины и севший на житье в степной и озерной Еравне, посреди заснеженной и выюжной Забайкальской Руси. Может, оживали покойные мать с отцом – вечное блаженство их душам, и полыхали счастливые зори на отчем покосе, где его, такого же малого, как Ванюшка, учил отец верно держать литовку, потом – косить, не загоняя полотно в землю, и чуял он сопревшей от старания и натуги, ноющей спиной материн протяжный, через весь луг, слезливый взгляд... А может, с приозерной полянки, куда чубатым парнем подворачивал, голосисто отпахнув гармонь, – может, оттуда навеивалось горчащее, неистребимое чувство, и сквозь сумрак лет, смущенно потупив глаза, опушив их вздрагивающими ресницами, восково проступало девье лицо, и виделось, как бледные пальцы, печально заплетают и расплетают русую косу, тянулись погладить по его шалым кудрям... А может, ничего не поминалось, ничего ясно не виделось, а просто, ничто не мешало здесь, в степи, усталой душе, и она, горемычная, витая над снежными увалами, нежилась в сладком роздыхе, пела, покаянно плакала:

Степь да степь кругом,
Путь далек лежит,
Здесь, в степи глухой,
Замерзал ямщик...

Село уж замутилось в сизой дымке, и лес проступил темным гребешком у степного края. На вершине пологого увала чудом чудным бобылила одинокая, почерневшая у комля, кривая береза-таволга, на толстых, искрученных сучьях которой висели и завивались на ветру цветастые тряпицы, конские волосы. И русскими, и бурятами таволга суеверно чтилась, а потому всякий, бредущий ли пеши, едущий ли на коне, устраивал здесь передых и просил у бобылки легкого пути, одаривая старуху некорыстным гостинцем, – медный ли грош метнут, тряпицу ли подвяжут, конский ли волос защемят в коре, а то и просто, плеснут водки на комель. Вот и отец придержал Гнедуху возле сиротливой березы, кинул в снег медную копейку, молча постоял, опустив голову, а потом сел в сани и сказал: дескать, ну, тронемся с Богом.

V

С высоких, середь февраля по-майски заголубевших небес лениво навеивалось влажное тепло. Степь – бескрайняя снежная птица, вольно разметав крылья, кружилась перед Ванюшкиными глазами, взблескивала, заманчиво поигрывала мелким, искристым пером, заставляя парнишку сладко жмуриться и навевать дрему.

Среди череды морошных, метельных дней, когда небо было занавешено серым, брюхато провисшим к земле, тоскливым рядом мглы, когда визжала ставнями и, обламывая ледяные когти, скребла снежный куржак на окошках одичалая, косматая пурга, а потом, бесприютная нежить, обратившись в малого ребенчишка, сиротливо гнусавила в печной трубе, из жалости просилась в избяное тепло, когда деревня устала от ветров и морозов, – милостью Божией тихо опустилась с небес на исхлестанную, настрадавшуюся землю первая оттепель после крещенской стужи; опустилась, приластилась к земле влажно-теплыми, пахнущими хвойной прелью и парным молоком, мягкими ладошками. Небо заголубело по-вешнему, и лишь позади ездовых, над самым селом, уцепившись за охлупени крыш, висели тучки, похожие на задремавших черных котов.

Оттепель. Нежданная-негаданная оттепель.

Не-ет, видно, ошиблась Ванюшкина мать, не доверяя радио, посулившему нынче тепло, а все оглядываясь на лысого деда, – разбухший от снегов, поседевший от старости месяц, то с сережками, то с крестом, насылающий и насылающий грешным снежные бураны, словно теплую сиротскую зиму народишко не выскорбел. Да уж Господь с ним, с теплом, пусть бы и мороз скрипом скрипел, и дым бы столбом, и кухня кругом, лишь бы потише стояло, а то ведь так пуржило, что и свет белый мерк, собаку встоячь заносило и даже комлистого мужика с ног валила лютая пурга, и не виделось ей, лиходейке, укорота и угомона... Но, похоже, выстрадали, вымолили грешные теплынь, коль пожалел их Боженька и посередь февраля-лютеня, сразу после Сретенья Господня одарил вешним деньком.

Сретенская оттепель...

Вот и отец, раззодренный теплом, с горем пополам развязавшись с долгой гульбой, поумирав спохмелья, оклемавшись, припомнил летний посул матери и решил-таки наведаться в лес по жерди, и теперь пел, как древний бурят-чабан, вытягивая песню по всему санному пути, елозя на куплетах, пока не пересыхало в горле и не першило. На малую пору утомленная песнь ронялась из саней и терялась в дороге. Гнедуха настораживалась, приноровленная к отцову пению, тоже покойно и согласно, как отец, печалась о своем вешнем, когда она еще не ведала хомута и резвым стригунком носилась по степному увалу вокруг бобылистой березы, провожаемая тревожным и досадливым взглядом своей матери. А может, Гнедуха тосковала о чем-то ином, несбывшемся в табунной молодости... Она ждала песню и, словно шлея под хвост попала, трусила вразнобой, дергалась, опахивала ездовых теплым и крепким навозным духом, и все косила на отца сверкающим темной досадой глазом. А как в ее прядяющие уши снова насачивалась протяжная песня, ее подрагивающий мотив, тут же выравнивалась в ходкую, нешумную рысь. Легко напружиненные, длинные, лоснящиеся ноги красиво и старательно ходили в оглоблях в лад песне, черный хвост вольно полоскался на ветру.

Дорога была гладко вылизана недавней пургой, сани легко скользили по закрепшему насту, сбавляя ход лишь в нечастых впадинах, где дорога виляла среди колдобин и кочек с метенными на них глубокими суметами. Миновав занос, взбороздив его полозьями, Гнедуха сама по себе опять переходила в мелкую, нехлесткую рысь.

Ванюшка в сохатиных пимах, одетых на катанки, по самый нос утопая в козьей дохе с высоким, стоячим воротом, смотрел, как мерно покачивается отцовская спина, напрягая порыжевший полушубок, лопнувший подмышками, подпоясанный перекрученным кушаком; пере-

водил глаза в блестящую степную бескрайность и слушал однообразный, плачущий голос, – саму песню, ее слова он по первости не мог путем разобрать. Слушал, и от того, что отец сидел к нему спиной, Ванюшке чудилось, будто песня навеивается из степи, напевает ее тихий ветер, но, когда отец шевелил затекшими ногами, поворачивался к парнишке боком, он видел замершее отцовское лицо, расширенный и так остановившийся глаз, видел слезы, поблескивающие в глазницах, – вышибленные встречным ветерком, – видел полуоткрытый рот, подрагивающие губы, обметанные седой щетиной, и понимал, что поет все же отец, и так ему стало жалко отца, так жалко, что к моргающим глазам сразу же приступили слезы, и, переполнив неглубокие глазницы, потекли по щекам, скопясь в уголках губ, отчего посолонело во рту. Но жалость не мучала, наоборот, внутри Ванюшки что-то сладостно расслаблялось, легчало, будто распахивался на шее тугой ворот, подставляя еще недавно сжатую, сопревшую грудь бодрящему освежающему ветерку. Этот ветерок, казалось, протекал и сквозь него... Потом ему стало жалко и себя все той же утешительной и тоже вроде беспричинной жалостью, потом – мать, сестер Таньку с Веркой и всех-всех на белом свете, даже Гнедуху, пятую зиму живущую в хозяйстве, ставшую такой же родной, как и отец с матерью; а после – что уж совсем нежданно – стало вдруг совестно перед всеми за неясную, может быть, поджидавшую впереди вину...

И набравшись сил,
Чуя смертный час,
Он товарищу отдавал наказ:
Ты, товарищ мой, не попомни зла,
Здесь, в степи глухой, схорони меня...

Услышав эти ясно пропетые, вернее, хрипло проговоренные слова, Ванюшка подумал, что они молвлены ему, и от неожиданного, опаляющего страха потерять отца нестерпимо захотелось сейчас же подползти ближе к отцовской спине, и, обнимая, целуя отца, со слезами умолять: «Не умирай, не умирай. папка, не умирай, миленький...» Но все в нем обмерло, опустошилось, сиял только ломящий, горько-синий, как снежная даль, одинокий свет. И не то чтобы он побоялся или постеснялся отца и не кинулся ему на шею, – хотя и стеснение было – нет, просто, он перестал вдруг ощущать себя, свою живую плоть, и лежал, не в силах шевельнуть даже пальцем, лежал и через призрачные наплывы слез все смотрел и смотрел в глубокое-глубокое небо.

А еще скажи, что я в степи замерз,
А любовь ее я с собой унес...

И ему, Ванюшке, малому, несмышленому, когда песня заполнила всю его суть по самые края, тоже было жаль чего-то позади себя сегодняшнего и даже как будто произошедшего не в младенчестве, – это, ушедшее, безмятежное, он тоже жалел, – а бывшего, словно еще до рождения его в другой жизни, когда теперешняя Ванюшкина душа была душой ямщика-горюна, и она, эта призабытая ямщицкая душа, кажется, еще нарочно выманила его в степь, чтобы напомнить о себе, чтобы, потревожив Ванюшкину жалость, вновь счастливо слиться со всей его сутью. Когда он явственно почуял себя тоскующим ямщиком, еще сильнее хотелось плакать, но он крепился, стыдясь отца и мужского дела, ради которого и поехали в лес.

* * *

Долго ли коротко ли, но из степной ветреной голи сани легонько занырнули в молоденький березнячок, там-сям желтеющий соснами и копотно чернеющий кряжистыми лиственни-

цами; и почудилось Ванюшке, будто вовсе и не в березняк вкатили, а вдруг от шуршания, искристого плеска и тонкого посвиста волн опустились в пронизанные столбами света покойные озерные воды. Такая непривычная благодать, такая до звона в ушах, до оторопи полная тишина охватила парнишку, что он тут же прикрыл глаза в сладком изнеможении. Тишина баюкала, укачивала его на своих бережных, пухлых руках; лишь сани, словно детская зыбка на очеп подвешенная к вершинам берез, взвизгивали полозьями на излуках да постукивали на вспученных корнях, пересекающих проселок, Гнедухины копыта.

Когда парнишка приоткрыл глаза, стал смотреть сквозь бахрому опущенных ресниц, не давая слепяще-голубому небу хлынуть в глаза, то приблизилось вдруг, что не едут они в санях, а кружатся, кружатся в хороводе с березами, утекающими вершинами в небесный купол, и слышалось: от берез, от тепло-синих теней на снегу тихим хором, сизоватым миражом плывет к небу уже не ямщицкая – ангельская песнь...

И привиделось Ванюшке, но уже без бывшего страха, слепящего, обессиливающего, как потерялись и замерзли они в этом березовом лесу, убежав со старшей сестрой Танькой из деревни и бредя в потемках на таежный кордон, где лесничили мать с отцом. Не играло тогда сретенское солнышко, купаясь в искристых снегах, ластясь к отпотелым березам; нет, стылым пеплом осыпались с глухого, безлунного неба декабрьские сумерки, торопливо сгущаясь в непроглядную и непролазную темь. И светило ребятишкам лишь беспечальное райское житие у Престола Господня, ибо не закоростились смертными грехами, и не исполнить бы им земные назначения, отсуленные свыше по рождению, да Иван Житихин выручил...

VI

Легко скользили сани по волглому насту, и отец, не погоняя весело рысящую Гнедуху, довольно поглядывал на Ванюшку, гадая, о чем бы заговорить с ним.

Вдумчиво и светло притих усталый, измаянный метелями молодой березнячок, перевел занемевший, смерзшийся дух, робко вдыхая предвешнее влажное тепло, протягивая к небу голые, отмягшие ветви, – от них на отвердевших и закоревших суметах волнами изогнулись ленивые тени. Березки побойчее вовсе отпотели, заиндевели, закуржавели, как если бы у корней их развели нежаркие костерки, застившие их сизоватой, причудливой дымкой. Березы повыше склонили долу плавные шеи, свесили полурасплетенные, пушистые косы, и сквозь них – так и виделось – мерцают девьи лица, смущенные нежданной-негаданной оттепелью, не верящие своим глазам, недавно испуганным, забитым снежной порошей, а теперь тихо и сине светлеющим, игриво и влажно поблескивающим.

– Не озяб еще? – отец глянул через плечо на сына.

– Не-не, не замерз, – суетливым голосом отозвался Ванюшка и часто замотал головой, – так дворовая собачушка при виде хозяина преданно и счастливо машет хвостом. – Теплень же стоит.

– Но-но, ладно... Тут до деляны рукой подать, считай приехали...

Ванюшка радостно чуял – отец не прочь посудачить с ним, чтобы потешить парнишку своим отцовским вниманием, а заодно вроде и окоротить дорогу, но не ведает он, про что толковать с малым, с какого края потянуть дорожную беседу. Отец редко пускался в долгие разговоры с Ванюшкой; обычно что-то на ходу проронит – спросит по хозяйству, укажет, – вот и поговорили. А нынче... Парнишка, чтобы не упустить эдакое счастье – разговор с батяней, заполошно рылся в памяти, отыскивая ключик-родничок, из коего бы, ласково и согласно журча, потекла вольная беседа.

– Папка, нам в школе про Русь говорили... А где она, Русь?

– Русь-то? – отец улыбнулся, в диве покачал головой. – Русь... Русь, она, паря, кругом. Ты же русский, на русской земле живешь, – вот тебе, паря, и Русь.

Отец умолк, задумчиво оглядывая наплывающий в глаза березнячок, осинничек, а Ванюшка торопливо прикидывал, что бы еще спросить.

– Папка, а весной здесь много будет почек на березах?

Отец вопросительно поскосился на сына.

– Маркен мне, Шлыковский, говорил, что их можно собирать, – затрещал Ванюшка, – потом маленько подсушить и в аптеку сдавать на деньги. А чо, ежели целый-то куль набрать, много денег дадут... Весной мы, папка, пойдем с Маркеном почки собирать. Может, и Паху Семкина возьмем...

– Куда деньги будем складать?! – усмехнулся отец. – Куль надо поболее шить – крапивный... Маркен тебе насвистит с три короба, а ты слушаешь, как Арина, рот разиня. Отвалят там, ага, за ваши почки – карман пошире доржи. Ты лучше матери дома подсобляй, не забывай, вот это дело...

Ванюшка почувал, что брякнул невпопад, и опечалился, но отец, забыв несчастные почки, покачал головой, вздохнул, припоминая:

– Я такой-то был... или двумя годами старше... так меня тятя одного в лес отправлял по жерди. Либо с браткой, Царство ему Небесно. Тоже от горшка два вершка... Чуть живые, бывало, аж под потемки домой ворочались. За стол сядем и на ходу засыпам. Вроде уж ложку поднять не можешь, вот до чего бывало, ухайдакашься... —

Отец говорил, грустно покачивая головой и будто усмехаясь над своими словами, с пристальным прищуром всматриваясь в лесную глубь, словно где-то там, среди снежных суметов, нарождались далекие, утратившие горечь, отрадные виденья.

– А намерзнешься-то за день, как собачонка. К печке прижмешься – и никакого согреву. Раз вот так приехали с браткой, дрова приперли на двух санях, и тоже до костей прозябли – зуб на зуб не попадают, да на бединушу еще и топор в дороге посеяли. Устали, рук, ног не чуем, да ись охота, как из ружья. Но, маленько отогрелись, почаявали, и велел тятя топор искать. Без топора, говорит, и на порог не пушу... А уж смеркаться зачало... Зло нас разбирает, а чо делать – пошли; тятя слово поперек скажи, – тут же бича схлопочешь... Чо делать, потопали с браткой пешкодралом – коней-то уж выпрягли, да и не дал бы тятя коня, и так заморился... Топаем, а сами чуть не плачем, – такие же были, либо чуть поболее, – и тятю всего изкорили. А уж темнеет... Но подфартило – встречу Гриня Байбородин едет, дрова везет... Он нам братаном доводился... Куда это, бает, на ночь-то глядя? Ну, мы и обсказали, а сами-то уж чуть не ревом ревмя – парнишки же были. Тут он наш топор-то и достает, по дороге подобрал... Ладно, братан нашел, то чужой-то еще отдал бы не отдал, Бог его знат... Сердитый был тятя у нас, Царство ему Небесно... Тогда норовили обмануть его, а теперь бы в ножки упали: робить путем да беречь свое не привадишься, – всю жизнь потом, бестолочь, маяться будешь...

Ванюшка почувал, что последнее сказано для него и в укор, потому что и от работы домашней отлынивал при всяком удобном случае, – с ребятами любил побегать, на конечках показаться, – и добро, отцом нажитое, сроду не берег: сколь тот же Маркен, дружок, выманил и крючков рыбацких, и жилки, и ножей?!

VII

– Да-а, теплынь-то стоит куда с добром, прям благодать Божья... – отец потянулся, зевнул и как бы мигнул Ванюшке: дескать, не обижайся, сынок, за выучку – во благо. – Верно что, сретенская оттепель. Февраль-бокогрей, бок корове обогрей, бок корове и быку, и седому старику.

Оттепель...

От мягко ласкающей красы березового колка Ванюшке на душу слетело такое умиление, такой суетливый восторг, что он, задним числом подивившись своей храбрости, выкарабкался из тяжелой козьей дохи, из ее кислящей духоты, и, подергав отца за кушак, бойко спросил:

– Папка!.. а, папка, дай повожжить, а?

Отец удивленно скосился на него, затем, какое-то время, тая на губах незлую ухмылку, для порядка и чтобы набить побольше цены на вожжи, еще ехал, а потом:

– Тпр-р-ру, Майка! Охолопись немного.

Покряхтывая, разминая затекшие ноги, по которым посыпались частые мураши, сходил до ближней лесины, а тут и сын – одна кобыла всех... заманила, – тоже, степенно переваливаясь на задеревеневших ногах, уперся головой в придорожную березу и уже суетливо, потому что прижало, закопошился в многочисленных одежонках.

Все еще легонько кружилась голова... Сейчас, когда не поскрипывали и не визжали полозья, не постукивали копыта, тишина стала до того полной и протяжной, что Ванюшка, задравший голову к вершине березы, перестал ощущать под ногами твердь – снова почудилось, вроде парит бесшумно, кругами в синем поднебесье... Тишина была полной и ясной, и грустной; белый иссиня, чистый покой, лишенный шумов и запахов, казался нездешним покоем...

Отец, как и Ванюшка, замерший было посреди зимнего покоя, не вытерпел его, закашлялся. Кое-как успокоив хрипящую грудь, обошел Гнедуху, подправил шлею под хвостом, подтянул чембуром оглобли, а уж потом, завернув полушубок, выудив из-под полы линялый кисет, неторопливо закрутил толстенную, в палец, самокрутку. И, пустив на сына запашистого и уютного на лесном зимнем воздухе махорочного дыма, молча привалился в задке саней. Ванюшка смекнул и, суетясь от волнения, еще не в силах распутать вожжи тряскими руками, полез в передок, к самым капризно выгнутым полозьям. Сопя, кое-как управившись с вожжами, раскрутил их, сел половчее, эдак на бурятский манер подобрав под себя ноги, поправил кушачок на телогрейке, и, боясь дышать полную грудь, сдавленно чмокнул губами, затем понукнул:

– Но-о, чуля-а!

Сани тут же покатили по скользкому насту, пошли считать частокол серо-синих теней, исполозовавших зимник, а сердце Ванюшкино занялось дымно-зоровым светом, взлетело к самому горлу, запальчиво заиграло и понеслось... понеслось, не помня себя от счастья, далеко впереди саней. И гордость распирала, неведомым хмелем забродившая в груди, жаром шибящая в голову, при этом все казалось, чуялось спиной, что отец нет-нет да и похваливает его повеселевшим взглядом: дескать, ишь ты, маленький-маленький, от горшка полвершка, а уж как ловко правит кобыленкой-то, а!.. и кобыла-то капризная – урос охальной... а вожжи-то, вожжи-то держит как путный, будто ямщик заправский... сразу видать, наша родова, Краснобаевская, – тятя, дед Ванюшки Калистрат, по молодости ямщикал на Московском тракте, в Верхнеудинске гащивал, в Чите... М-да, узрел бы тятя с небес своего малого внучонка, порадовался! Вот ямщикок, дак ямщикок, едренов корень, отца родного везет, – дождался...

Но Ванюшке теперь мало отцовской хвалы, которую не слышал, но ощущал спиной; нет, этого уже не хватало разгоревшейся душе, и парнишка вздыхал о том, что вожжить пришлось в лесу, где на него удивленно, да бессловесно пучатся глазами в крапинку лишь голые березы; вот ежли бы в деревне – это другое дело. У-у-у, в деревне-то он бы дал жару, всем бы утер носы, показал бы ребятам, особенно Маркenu Шлыкову, как надо вожжить, – так бы лихо прокатил, что все бы от зависти поумирали. А вдруг бы и Танька увидела Батурина?.. Тут Ванюшка даже невольно покраснел, вспомнив смуглую девчушку, с темно каштановой косой, круглым лицом и печальными, тихими глазами. Дня, бывало, не мог прожить, не видя ее, крался за ней по улицам, терзаясь и мучаясь стыдом; вечерами зяб на ветру под ее окнами, – хоть краешком глаза увидеть ее в окне или когда пойдет закрывать ставни... Эх, по своей бы улице, да по Озерной!.. – с тоской помянул он родную улицу.

Скоро Ванюшка и вовсе освоился с вожжами, потому что нечего было и вожжить-то, – Гнедуха сама не слепешарая, сама дорогу видит и в лес сдуру не кинется, – а освоившись, выдохнул из себя скопленный от волнения и гордости жаркий воздух и начал раз за разом понужать кобыленку, крутя вожжами над своей головой, норовя вытянуть ими по по кобыльему крупу. И Гнедуха порысила ходче, быстро подбирая полосатые тени своими загребистыми копытами и разбрасывая их по сторонам. В сплошную пестроту вытянулся мигающий просветами лес, покатилося по вершинам берез и лиственниц красноватое солнышко, едва поспевая за санями.

– Гоном-то, паря, не гони, – попросил отец, видя, что Гнедуха, недовольно косясь на ямничка, который норовил огреть ее вожжами, готова была вот-вот с рыси удариться в намет.

Ванюше хотелось запеть что-нибудь удалое, с присвистом, когда сани выкатили на продолговатый лесной бусанок с одиноким зародом сена посередине, когда, смешно ломаясь и дробясь, подпрыгивая, побежала вдоль заголенной дороги чудно вытянутая, слитая воедино тень Гнедухи, отца и его. Казалось, по заснеженному полю с торчащими там-сям кочками и гривками сухой, белесой ковыли быстро скользит голубоватое, трехгорбое диво.

Ванюшка загорланил песнь, какую слышал от брата Ильи, когда тот был под добрым хмельком:

– Отец мой был природный пахарь, а я-а-а работал вместе с ним!..

Но песня показалась вялой, и, когда миновали покосный бусанок, от разыгравшей лихости парнишка хотел либо матюгнуть Гнедуху по-отцовски, либо крикнуть обычное при езде: н-но, пропащая, шевелись!.. чуля!.. спишь, волчья сыть!.. но тут на крутой излучине – Ванюшка ясно видел и запомнил на всю будущую жизнь – грузно скакнула на дорогу отечная у комя, бабистая, кособокая лиственница; скакнула, раскорячилась посередь дороги, широко и ухватисто разведя толстые нижние сучки, будто ловящие руки... Сани полетели прямо на лесину, с визгом раскатились на прибитом сумете, и черно-бурый ствол, стремительно и чудовищно разрастаясь, понесся прямо в распертые, испугом одичалые Ванюшкины глаза.

– Ма-а-а-а-а-а!.. ма-а-а-а-а!.. – так дико и на весь лес взревел он, что с придорожной осины испуганно потрусился иней; взревел, опрокинулся в ноги к отцу, струнами натягивая вожжи, вросшие в сведенные страхом, оледенелые пальцы, и на какое-то время обеспамятел.

Гнедуха удавленно храпела, осев на задние ноги и высоко задрав вывернутую в сторону от лесины морду, на которую натужно лез хомут; оглобли взметнулись, угрожающе сунулись в небо, что-то хрустнуло, затрещало в санях...

Ванюшка ничего не видел, не слышал и даже не почуял, как отец вырвал из его сведенных пальцев вожжи, а когда опаматовал, уже как ни в чем не бывало постаивала в сторонке хмурая, приземистая лиственница, будто даже ухмыляясь старческим ртом – узким дуплом, обметанным серой и смолой; постаивала навроде лешахи и насмешливо трусила на дорогу потревоженный, сухой снежок.

VIII

Отец, выправив кобылу в оглоблях, уперся коленом в хомут и затягивал на нем супонь, потом подправил на запотевшей и дрожащей кобылей хребтине седелку, подтянул оглобли чембуром и завязал повод узды на колечке под дугой. Все на диво обошлось: сани нигде не треснули, упряжь не лопнула. Отец в последний раз осмотрел сбрую, поправил ее на холке и, все же безнадежно вздохнув, покачав головой, двинулся к саням. Чем ближе он подходил, тем ближе к Ванюшкину горлу подкатывался нарастающий крик, тем глубже обваливалась в плечи голова, поджидающая удара... Но отец и пальцем не тронул сына – он не лупил ребят, как иные лютые отцы, а, бывало, поймает за ухо да так крутанет, что ухо потом долго горит красным огнем, прожигая болью всего насквозь. Сев в сани, нервно закулив, равнодушно бросил:

– Тюляма!.. – что означало: баба ты, размазня, шаньга творожная, а не мужик. – И туда же, вож-жить... урод в заде ноги. Тьфу! Раззявил рот... – коротким, инисто-синим взглядом скребанул по дрожащему, понурому сыну, тоскливо отметив, что и телогрейка, уже малая, едва сходясь на животе, сидит на парне нескладно, по-бабьи, и что ноги в растоптанных катанках торчат тоже по-бабьи – вразной, точно неживые, сырые чурки, и что всё в нем вроде немужское, размазанное.

– На пече тебе сидеть, да задницу греть, баушек слушать... – еще раз в злую утеху подразнил он сына, запахнул полушубок и, ловчее устроившись на саях, тронул вожжи, чмокнул губами, и Гнедуха ровно, неторопко побежала. – Вожжить... Куда тебе, балаболу, – отец в последний раз насмешливо покосился на сына, и во взгляде ясно слышалось: э-эх, непуть ты, непуть, и в кого такой уродился, ума не приложу. Да в мать, поди, – и та непуть добрая. Одно слово, мамкин сынок, титёшник, Ваня-дурачок. Как жить будешь, в ум не возьму. Жизнь... жизнь, она, успевай вертись, а-а-а иначе затопчут в грязь, непутя. Пропадешь, однако, паря, или голым задом будешь до старости сверкать...

Отец больше не оглядывался на сына, и до деляны ехали в чутко натянутом, стылом молчании, которое томило Ванюшку, не давало справиться с терзающим чувством вины. Отец уже не вытягивал из себя ладного «ямщика», губы его как-то разом по-стариковски завалились в синеющий рот и подсасывали сумрачно скошенным краем, пережевывали студеной воздух.

Въехали в сплошной, тонкоствольный листвяничник, и тут отец высмотрел жерди, уложенные в штабеля, призаваленные снегом. Видимо, после Покрова совхозники рубили их для поскотинной городьбы и загонов на бараньи гурты и коровьи фермы; штабеля два на днях вывезли, судя по утоптанному снегу и крошеву лиственничной коры, судя по брошенным березовым лагам, на которых и лежали жерди. Чуть припорошенный санный путь вел к штабелям, – отец, чуть поколебавшись, резко свернул с проселка. Подъехав к расчату штабелю, обошел его, настороженно огляделся, чутко прослушал тишину, а потом, выбросив с саней доху, пимы, сидорок с харчами, веревки, сразу же начал грузить. Ванюшка кинулся было подсоблять, понес напару с отцом жердину, но тут же споткнулся о пенек, утаенный снегом, завалился в сугроб и долго барахтался, прежде чем встал на ноги. Отец зло махнул на него рукой, болезненно искривив потоньчавший, засиневший рот, и уже наваливал жердь один, с тяжким сопением заноса сперва комель, потом вершину, при этом его нет-нет да брала суетливая тряска, и даже не потому, что могли прижучить с казенным жердьем, а раздражаясь от Ванюшкиных глаз, виноватых, с собачьей пристальностью следящих за каждым его шагом. Сын прикинул, – дело нечистое с этим жердьем, и ему было стыдно, но так хотелось, чтобы стыд не выказался отцовским глазам, не обидел его, и он изо всех сил нагонял на себя беззаботный и соучастный вид. Отец, вроде услышав его мысли, проговорил неведомо кому:

– Я о прошлом годе совхозу жерди заготавливал, калымил, дак и по сю пору не рассчитались. Вот и будет мой калым. Нашли Ваню-дурака...

Разводить костерок не стали, о чем горько пожалел Ванюшка, которому так хотелось, сидя на пеньке возле потрескивающего огонька, попить горячего чая из натопленного снега, прикусывая мелко наколотый сахар. В алюминиевой кружке с дымящимся чаем кружались бы листья брусники, хвоинки... Отец даже не вытащил из холщового сидорка плоскую солдатскую манерку, с такими родными Ванюшке по сенокосной страде, почерневшими вмятинами на алюминиевых боках. Вяло и скучно пожевали лепешки с салом, потом отец закрутил махорки, задымил, да на том и тронулись в обратный путь.

IX

Молча и отчужденно ехали березняком, примостившись на возу. И хотя едва перевалило за полдень, торопливый, негаданный сумрак прямо на глазах придымил лес; угасли на посере-

шем снегу тепло-голубые тени, отыграла свекрающая чешуя; пепельная туча, накатываясь от деревни, заволокла небо над лесом, над степью, а вместе с тучей тут же долетел ветер, стряхивая с берез снежный прах; и сразу же похолодало.

Видно, обманчивая вышла оттепель, и права была мать – ох, как права! – толкуя утром: дескать, месяц-молодик пока не родился, и может так завьюжить, что и носа из избы не высунешь. Опять радио надуло, насвистело про тихую погоду. В таких случаях, когда погода круто меняется, когда метель прихватывает ездовых в пути, мужики невесело шутят: мол, ну, паря, сознавайся, кто нынче согрешил? И уж непременно найдется согрешивший перед дорогой, хотя, может, и не выкажется, но про себя-то будет переживать, маяться виной.

В степи, как только выбрались из березняка, отца с Ванюшкой прихватила злая метель; тугой ветер нес, закручивал воронками вздыбленный снег, и столбы снежной пыли, раскачиваясь и приплясывая, летели прямо на сани, отчего Ванюшка весь съеживался под дохой, и ему невольно приходили на память домоги²¹ бабушки Ромашихи, соседской старухи, будто в снежных и пыльных вихрях крутятся-вертятся лихие волхвитки²², насылая на ездовых свирепую пургу, сбивая с верной дороги. «Они-то, зленные колдовки, и тепло, поди, украли, – сердито прикинул Ванюшка, через тугой прищур взглядываясь в снежную круговерть, пытаясь высмотреть в ее мутной глубине крючконосую, беззубую старуху с лохматыми бровями, из-под которых бы зло и насмешливо светились зеленоватым огнем одичалые глаза; что-то похожее на согнутую каргу, метущую над степью седыми космами и широким, темным подолом юбки, ему померещилось и погасло. – Вот эта, поди, и черные тучи в один гурт согнала, и солнышко спрятала, и снег наворожила, и всё недоброе, что вышло у них с отцом, – тоже злые грезы ехидной волхвитки, но раньше карга пряталась, – может, кралась по степи и по лесу за их санями, – а теперь выказалась во всей своей не знающей уёма, бесовской силе.

Мало верил Ванюшка домогам бабушки Ромашихи, хотя, бывало, слушал вечера напролет; но теперь вот помянул их, дал волю покорному, испуганному воображению, и вдруг увидел бесплотную, насквозь проглядную горбатую старуху, что вилась и приплясывала среди снежных вихрей. Ванюшке стало жутко и от воображенной старухи, и от того, что Божий свет померк, – в трех шагах от проселка уже ничего не было видно, – и Гнедуха шла тяжелым, скребущим шагом словно против напористого течения, несущего встречу потоки колючего снега; но страх лежал в Ванюшкиной душе с обреченным покоем, не томил, и парнишка еще нарочно высовывал лицо из козьей дохи, подставляя щеки палящим нахлестам морозного ветра, – это вроде утешало душу, виноватую, требующую себе облегчающего наказания. Конечно, он тут же прятал в доху обожженное ветром лицо, но через какое-то время опять высовывался. Ветер вышибал слезы, и вместе с ними приходило странное успокоение, печально опустошающее душу. Обида на отца – когда тот всяко обзывал и срамил его, – теперь угасла, притих и стыд за себя, за отца – это когда они грузили казенные жерди; все прошло, выдулось метельным ветром, выморозилось стужей, и опять, как и прежде, было жалко отца... жалко до слез.

Отец сидел в передке саней, принимая весь ветер на себя, а Ванюшка, хоть и выглядывал из дохи, все же был заслонен отцовской спиной, да и не было у отца такой теплой дохи, как у Ванюшки, и его насквозь просвистывало в старом, вышорканном полушубке, отчего он сидел весь съежившись, точно старый, одинокий воробей на жердевом заплоте. Ванюшке стало совестно лежать без движения в своей глухой козьей дохе, хотелось подбодрить батяню веселым, по-свойски теплым словом, дать почувствовать тому, что он не один, а вдвоем они не пропадут, и, Бог даст, все будет ладно, но... Ванюшка молчал, не набравшись духу заговорить с отцом, да сквозь вой пурги тот бы и не услышал, либо не разобрал, что там бормочет сын, и

²¹ Домоги – сказки.

²² Волхвитки – колдуны.

лишь встревожился: не замерз ли парнишка?.. Поэтому Ванюшка полулежал огрузлым кулем, мучался, корил себя поносными словами за то, что уродился таким непутным.

Гнедуха шла боком, угиная морду от палящего, колючего ветра, шла, вся натужившись и даже нет-нет приседая на задние ноги, со всей моченьки, даже жилы вздувались на крупе, упираясь ногами, когда сани тонули в тяжелом заносе, бороздили и вспахивал его. Отец спрыгнул с воза, пошел рядом с кобылой, заслонив лицо плечом и рукой в шерстяной варьге, поверх которой была натянута брезентовая верхонка. Трудно было понять, далеко или близко деревня, – снежная мгла застилала белый свет, и, хотя пора бы, все никак не просматривалась степная береза-бобылка, отчего отец, выхаркнув лютую матюжку, отчаянно смекнул, что давно уже сбился с дороги, занесенной снегом и гладко зализанной ветром. Отец долго озирался, через мучительный прищур оглядывая метельную степь, гадая, в какой стороне жилуха, и, ничего не высмотрев, тронулся наобум лазаря, прямо по целику, положась на авось и Гнедуху, – может, учует жильё.

А вьюга не думала стихать, но с каждым звеняще-тугим порывом росла и росла; а дико свистящий, воющий хоровод все крепче и туже, с ликующим злом сжимал заблудивших, одиноких людей...

Х

...Так вот, когда Иван наставлял свою дочь на ум, от тихого назидания переходя на ор, то после, когда было стыдно за слепое раздражение, поминалось ему свое детство, поминался и февральский день, лишь по великой милости не ставший последним для отца и сына. Вначале день мерк в обиде на отца, как в тогдашней метельной мгле, словно отец был повинен в том, что и оттепель вышла обманчивой, и страху натерпелся по самое горло, и добела прихватило морозом щеки, – мать едва оттерла, и весь месяц мазала гусиным салом, пока не сошли коросты. Обидно было... Но тут же обида рассеивалась, словно нежеланные тучи от ветра-верховика, – нет, все же были и ласковая сретенская оттепель, и степь-белорыбица, сверкающая на солнце мелкой чешуей; были печально-уютная, хрипловатая старина отца про ямщика, умирающего в степи, и Гнедуха, бегущая нехлесткой рысцой в лад песне; кружились березы, нежно задымленные сизоватым, узорчатым инеем, и был он, парнишка, оторопевший от сверкающего степного простора, от певучей тиши березового перелеска, и было ему жалко отца и всех на белом свете.

Но когда шли Ивановы наставления дочери, о своем детстве он вроде ни сном ни духом не ведал, словно и не случилось в его жизни детства.

Наставления, поучения разгорались вечером, когда вся семья собиралась за ужином, когда Оксана, хмурая, приходила из школы и с порога винилась: мол, посеяла варежки – уже третьи с начала осени!.. а деньги – целый рубль!.. – выданные на тетради и карандаши, выманили подружки и купили дорожных конфет «Ласточка». Даже не выманили, а она сама, богачка, одарила всех шоколадными «Ласточками».

И так изо дня в день: Оксана что-то теряла, забывала от врожденной, сонной и протяжной задумчивости или, наоборот, от неумной, захлебистой говорливости. Не столь было жалко Ивану рубля, – не было денег и это не деньги, – сколь жалко дочь, и даже страшновато за нее: а вдруг такой простушкой вырастет, и любой встречный-поперечный, кому не лень, будет ее на каждом шагу обманывать?.. А девушкой станет, тогда как?.. Ловкачей пруд пруди, мигом оморочат, а потом беды не расхлебаешь. Им такую простушку заманить да вокруг пальца обвести – раз плюнуть.

Чужие грехи пред очами, свои за плечами?.. Нет, Ивану с общигающим душу стыдом поминались и свои грехи; мало того, было мучительно стыдно от неуверенности, что устоял бы и впредь пред соблазном, коль такой подвернулся бы. Помянулись забытые девчушки, выле-

тевшие из-под маминого крыла на веселый, лихой простор, да впопыхах, вгорячах тут же удивившие в проворные, хваткие руки. Сколько их, непутевых, надломилось нежными ветками, чтобы уж больше не выправиться, не нарядиться майским листом... Рассуждения Ивановы, исходящие из грешного темноты, заскользили вниз, в будущую непутную жизнь дочери словно под угор, размытый холодными осенними дождями.

Он не мог постигнуть вялой, растерянной сути, чему Оксану учить: если добру и простодушию, – промается весь свой девий и бабий век, обманывать будут, насмехаться?... но не хотелось подучать и нелюби к людям, как и житейской ловкости, – противилась суть. От такой растерянности набухало в душе против дочери раздражение, круто замешанной на жалости, тоске и тягостном ощущении жизненной неуютности и непрочности.

XI

Иван Краснобаев, после учебы не зацепившись в Иркутске, вместе с Ириной, женой, и малым чадом вернулся в степное село, где на берегу заросшего травой и обмелевшего озера отыграло утренними зорьками его рыбацкое детство. Пристроились в деревенскую газету, сочиняли про пастухов и доярок, чабанов и рыбаков, костерили на все лопатки деревенских пьянчуг и лодырей.

В первый же день сходил на другой край деревни, глянул родную избу, не чуя в себе духа сунуться даже в ограду, чего-то смущаясь и пугаясь, – может быть, не желая лишний раз беречь душу поминанием о малолетстве, о навечно канувшем, самом отрадном, как ему чудилось, вольном времечке, а может быть, просто стесняясь нынешних хозяев и побаиваясь, что встреча с родным домом и детством выйдет смешно и грешно, как на сцене, куда его силком выпихнули, потому что душа молчала. Да и отпугивал дом, поправленный новыми владельцами, поднятый венца на два, зашитый дощечками «в ёлочку» и ядовито раскрашенный, ставший на обличку до обидного чужим, словно отобрали его у Ивана, присвоили навечно и, чтоб уж не чуял родным, переделали на свой хитрый лад.

В окне смутно и тревожно качнулось чье-то лицо, а потом из ограды, переваливаясь уткой, придерживая ладонями разбухший живот, натянувший и вздыбивший блеклое, ситцевое платье, вышла хозяйка; широко и основательно расставив перевитые синими жилами босые ноги с зачерствелыми, бурыми ступнями, остановилась в калитке, застив собой весь проём; к ногам её тут же прижался, выбежавший следом, чумазый парнишонка, на котором была лишь коротенькая, до пупа, замызганная майка, оттянутая солдатской медалью; следом явилось и вовсе чудечко на блюде: в одних трусах до колен, в коробистых черных перчатках, с деревянным автоматом на шее, но при галстук и фетровой шляпе, которые, похоже, долго жевал теленок; за парнишками выглянули и две крепенькие, лет десяти, русокосые и синеглазые девчушки, вроде как двойнята, в одинаково пёстрых, застиранных, долгополых платьях; и все они – и мать, и выводок – настороженно и неприветливо глазели на Ивана, отчего ему стало неловко, досадно, и он буркнул про себя: «Вылупились, как бараны на новые ворота...»; после прикинул с насмешливым вздохом: «Господи, живут же люди, а...»

Хозяйке, кажется, тоже не глянулся этот... по виду вроде городской парень... сухостойный, с глубоко запавшими, печальными глазами, с волосами ниже плеч, облегающими носатое, крупное лицо. Но больше всего хозяйке не по нраву пришлось то, что парень, будто пристыив к земле, подозрительно долго и хватко оглядывает избу: с чего бы это вдруг?... не измыслил ли чего худого? Уж не представитель ли какой?... Может быть, вспомнилось пугающее стародеревенское: уполномоченный, или, как мужики переиначали, упал намоченный...

Смутившись под напором хозяйкиного взгляда, Иван сердито развернулся и быстро пошёл по тракту, так ни разу и не обернувшись; хотя и манило оглянуться, посмотреть ещё раз на семейку – на желтоголовый, синеглазый выводок, на мать-квохтуху, дохаживающую,

кажется, последние деньки, готовую со дня на день принести в избу ещё одного такого же желтоволосого цыплёнка; хотелось обернуться, – даже мимолетная зависть вдруг ворохнулась в нём.

Но зависть была случайной, неведомой, короткой, потому что его не умилили ребятишки малые и баба на сносях, похожая на широкое и вольное, вспаханное и засеянное, хлебное поле, похожая и на ржаной каравай, пышущий ласковым жаром, – еще не чувал Иван в том счастливой отрады. Господи, какое там счастье?! Стоило ему лишь вообразить себя, обвещанного ребятишками, в деревенской семейной колготне, как глухо обволакивала всю его суть отупляющая, сонная скука, и томило чувство безысходности.

Торопливо и обиженно уходил Иван от дома; в глазах какое-то время маячил форсисто раскрашенный фасад, из которого, не печалю и не радуя души, утомлённым эхом проступал, словно из тумана, старопрежний дедовский сруб, – там, в тумане, угасло Иваново детство... Вскоре он забыл обновленный дом и, редко заглядывая в родной край деревни, помнил лишь свою прежнюю избу.

* * *

Осенью отвели чадушко учиться, а коль в деревне, да и на могилках, Краснобаевых, – Ивановых родичей, далеких и близких, – хоть пруд пруди, или, как говорил отец: до Москвы не переставишь раком, то в первом классе, куда угодила дочь, оказалось четыре краснобаевских девчушек, и три из них Оксаны – имечко вышло о ту пору ходовым. И пришлось молоденькой учительке величать соплюшек по имени-отчеству: Оксана Ивановна... Петровна... Семеновна.

И помнится – дело вышло после Покрова Богородицы, – пришли под вечер с работы и лишь переступили порог, как дочь им все и выложила. Иван, разозленный, чтобы не дать волю рукам, не испугать дочь, быстро сел на порожек, тряскими руками выудил из пачки сигарету, и лишь немного отойдя, глянул на разор, учиненный дочерью в их семейном гнезде.

Поселили молодых в двухквартирном брусом бараке, желтеющем в ряду таких же барачков, лупоглазо взирающих на степные увалы. Жизнь о ту пору²³ вышла сытая, крепкая и надежно проглядная в даль, а посему женки охотно и наперегонки рожали, – словом, подружек дочери хватало за глаза. Вот они, милые оксанины товарочки, и похозяйничали в квартире, а заводилой конечно же была Лилька, соседская баламутка, прозванная Пугачихой, которую Иван и близь калитки не пускал, а на улице молча обходил стороной.

Пировали девчушки на славу, опустошили холодильник, где теперь и таракан мог с голоду повеситься; добрались и до коробки конфет, припасенных на случай гостей, и те слупили, не поморщились. А уж на сытые пузочки так раздурелись, – хоть всех святых выноси, будто Мамай прошел, и если водился около печной выюшки старый домовёнок, и тот, поди, ноги в горсть и дунул из жилья, как ошпаренный. Разметали оксанины товарки книги по полу, иные порвали, затоптали, потом выворотили из комода некорыстную одежду, – наряжались в материны платья и концерты ставили – поет!.. Алла!.. Пугачева!.. – а вырядившись, кудерьки взлохматили копной – «я у мамы дурочка», и мордашки намалевали, разорив материну котомочку с чаровными тенями и заветными помадами. Раскраска еще виднелась на испуганном лице Оксаны, хотя дочь с ярыми слезами шоркала глаза и щеки.

Прибору хватило Ивану с женой на весь вечер, а уж за поздним ужином, когда за окном сеял осенний мелкий дождичек, попробовал он, как обычно, поучить Оксану уму-разуму.

– Ты, дорогуша, не будь такой дурой-то, – начал Иван тихо. – Такой полоротой... – он чуть было не прибавил: полодырой, – такой вырастешь, всю жизнь будешь маяться потом. Тебя же

²³ Семидесятые, восьмидесятые годы XX века, когда еще вся социальная жизнь была почти бесплатной, когда поджидали коммунизм.

любой обманет, обкрутит. Можно быть доброй, но доброта доброте рознь. Простота, говорят, хуже воровства... Вот сейчас забежит бандюга, скажет тебе: дай нож? Ты же добрая, ты ему дашь ножик, а он, может, пойдет да этим ножиком человека заколет... Вот тебе и доброта...

– Ну, ты уж загнул, – фыркнула Ирина. – Пугаешь ребенка на ночь глядя.

– Я для примера... – Иван с досадой глянул на жену, потом продолжил наставления: – Я тебе, Оксана, сколь талдычил: не води ты Пугачиху домой, а если уж так хочется с ней играть, дуйте на улицу. Чего в доме париться?! Хоть свежим воздухом подышишь...

– А почему меня будут обманывать? – опустив руку с куском хлеба, понуро спросила дочь. – Что, люди обманщики, да?

– Н-но, елки-моталки, говори не говори, никакого толку, как об стенку горох, – занервничал Иван. – А почему тебя сейчас на каждом шагу обкручивают?

– Когда, когда обкручивали?! Не знаешь и не говори.

– Да что там всякую чушь пороть! Пугачиха вчера рубль выманила?.. Выманила?.. Скажешь, нет?

– Ничего не выманила, я сама угостила, вотушки, вотушки! – огрызнулась Оксана.

– Ишь, ты, какая богачка нашлась, разугощалась. Мы тут с копейки на копейку перебиваемся с матерью, а она, ишь ты... Что-то тебя, я гляжу, никто не угощает. Вон у Пугачихи твоей, у подружки ненаглядной, и снега зимой не выпросишь. Маленькая-маленькая, а не чета тебе, все-о соображает, такая лиса хитрющая, каких белый свет не видывал...

ХП

И тут Иван мстительно припомнил свое первое знакомство с Лилькой Пугачихой... Прикочевав из города, поселились Краснобаевы на степных выселках, заняв угол в двухквартирном бараке, а Лилька, дочь совхозного бухгалтера, веселого и хитромудрого, жила через три барака ближе к деревне, в свежерубленной избе, размалеванными карнизами, наличниками и ставнями похожей на хвастливую и расфуфыренную бабоньку.

Иванова семья еще путем не обжила на голой кочке, не обзавелась подручным домовым и дворовым скарбом, а посему и кинулся Иван просить у Лилькиного отца тележку-двуколку, чтобы притортать с озера бак воды. Перед тем он уже раза два-три брал тележку... Встретила его на сей раз бравенькая, смуглая, остроносенькая девчушка, что величаво восседала на зеленом заборе и, победно оглядывая улицу суетливым, сусличьим взглядом, истошно вопила:

– А ты такой холодный, как айсберг в океане!..

В ручонке она держала надкушенное яблоко; еще нарочно, поди, на забор залезла, чтобы яблоком похвастать, ребятишек поддразнить, – решил Иван, зная, что яблоки в его далекую степную деревню забрасывали годом да родом, а здешняя вечная мерзлота рожала лишь картошку да маркошку. Когда Иван подошел ближе и, слушая дурковатые вопли про холодный айсберг в океане, начал уже посмеиваться, девчушка осеклась, нахмурила бровенки, глянула исподлобья на соседа. Иван лишь заикнулся про тележку, как Лилька Пугачиха сразу и выговорила недетским, сварливым голосом:

– Сломалась тележка!.. – потом проворчала, похоже, с родительского голоса: – Ходите, просите, самим надо иметь. У нас не магазин железный...

Бойко отчитав, нырнула с ярко крашенного забора в глухую ограду, откуда, проснувшись, удавленно и хрипло рыча, взлаял цепной пес, пытаясь пропихнуть в подворотню слюнявую морду.

Иван брел домой очумелый, словно его неожиданно, ни за что, ни про что оплескали помоями с ног до головы. Как обычно припоздав, завертелся на языке, прожигая насквозь, хлесткий ответ: декать, тебя, дева, понос случаем не прохватит с этих яблок?!

– Господи ты мой, милостивый, куда же мы катимся?! – неожиданно в голос простонал Иван, хлопнув себя по лбу. – Ну, ладно, взрослый, порченный, а у ребятишек-то откуда такая зараза?! Это же страшно, коль уж дети, у которых и молоко-то на губах путем не обсохло, смалу порченные... Слава Богу, хоть наша-то Оксана не такая растет...

Вот эдак Иван и признакомился с Лилькой Пугачихой, и больше ничего в их доме не одалживал; жили в соседях и другие хозяева... мир не без добрых людей.

Потом он, конечно, смикитил, с чьего голоса пела Лилька Пугачиха. Отец ее, приземистый, корявый, с жарко пышащим, круглым лицом, так в деревне и прозываемый Петя Красный, – встречаясь с Иваном возле водокачки либо на озере, где заливал бидоны водой и отвозил в люльке мотоцикла, – все пытался завести душевный разговор, но красное, одутловатое лицо его, выдавая чуть притаенные помыслы, так ехидно ухмылялось над ученой голытьбой, что у Ивана отпала всякая охота не то что по душам толковать, а и словом перебрасываться.

Лильку же, Оксанину подружку, Иван то жалел, то в сердце копилось глухое, мстительное чувство.

ХІІІ

– Почему ты все Пугачихе раздаешь?! – корил Иван дочь. – Надо же маленько-то поумнее быть. Сколько уже ручек перебрали, карандашей, тетрадок, – всё Лильке уперла.

– Она мне тоже все дает, вотушки, вотушки! – снова огрызнулась Оксана, глядя в пол и едва сдерживая плач; но Иван, распалив душу, ничего уже не чувал, а лишь дивился настырности и непонятливости своей дочери, гадая при этом: и в кого она такая непутная уродилась?.. Да уж в мать, поди, в ее родову, – там непуть на непуте.

– О-о-ой, ой! Не свисти, дорогуша, знаю я твою Пугачиху: за копейку удавится... Да Господь с ним, с клятым рублем, хотя мы с матерью еще деньги не печатаем, но надо же... надо же маленько-то беречь свое. Люди за копейку горбатятся, надо же это понимать, беречь... А что вы с Пугачихой сегодня дома утворили?! Та, зараза, хитрая, к себе-то шибко не зовет...

– Брось, отец, пусть ребенок спокойно поест, потом будешь свои морали читать, – Ирина восстала за дочь, да поздно – Ивана понесло.

– А-а-а, говори не говори, все бестолку! Что в лоб, что по лбу!.. Меня, вон, отец пошлет куда, так в лепешку, бывало, расшибешься, лишь бы ему угодить. Глазом, бывало, поведет, уже несешься сломя голову, а и сам, бывало, не ведаешь, куда и бежишь... А попробуй зубы выкачать – уши с корнем выдернет. Вот и почитали, боялись... А нашей – слово, она тебе десять поперек, – Иван сердито глянул на понурюю дочь. – Такие все, паря, умные стали, некого... послать, – он чуть было не сматерился. – Я такой-то был, уже всю дома помогал. А нашу заставь-ка полы мыть?! А заставишь, так не рад будешь, – казарму можно выскоблить и вышоркать, пока она три половицы вымоет. Да и те надо перемывать, – грязь разотрет... Я годом постарше был, так с отцом уже и в лес ездил по жерди... сено косил, копны возил... А летом каждый Божий день на рыбалке. Мать в потемках силком поднимет с постели, весла в зубы и дуй... Спать охота, – вечером же с дружками набегаяешься допоздна, – и вот сидишь в лодке, клюешь носом. Весь промокнешь, промерзнешь насквозь, а вечером ведро рыбы домой прешь. Не для забавы рыбачил, а уж с первого класса семью рыбой кормил... А Оксану мы извадили, – накинулся Иван на жену. – Привыкли: неженки да поцелуйчики. Посуду надо мыть – ладно, завтра помоет, пусть ребенок спит, притомился... за ужином ложкой махать... А как она потом изнеженная жить будет? Думаешь, она нас добрым словом помянет?! Ее же затыркают, заключают, как дурочку последнюю. Я такой-то побойчее был...

– Да ладно тебе, разворчался, как старый хрыч...

– А-а-а!.. – Иван раздраженно махнул рукой. – Бог с вами, как хотите, так живите!..

– Ничего, ничего, она у нас умненькая растет, – Ирина притиснула к себе дочь, сидящую подле, и жалостливо огладила ее русую голову. – Ешь, Оксаночка, ешь...

– Во-во, кушай, кушай, никого не слушай.

– Правильно, не слушай его, отец нынче с левой ноги встал. Вот и разоряется...

– Ты что, опупела?! – Иван выпучил глаза на жену. – Ты что ребенку говоришь?! Ты хоть маленько-то соображай своим куриным умишком...

– А что, неправда?.. Если у тебя плохое настроение, мы-то здесь при чем?! Зачем на нас-то зло срывать?! Ешь, Оксаночка, ешь, не обращай внимания.

– Во-во, – горько скривился Иван, – пожалей еще, потом и вовсе от рук отобьется. На шею сядет и ножки свесит.

– И пожалею. Если мы не пожалеем, кто еще пожалеет.

– Давай, давай, жалей, она потом такие нам подарочки поднесет, за голову схватишься.

– Да не мучь ты ребенка, вот прилип, банный лист, – Ирина ту же прижала к себе дочь, чмокнула ее в макушку, но Оксана, стойко вынесшая попреки отца, откровенную материнскую жалость перенести не смогла, – глянула на отца с матерью болезненно круглыми, измаянными глазами и, опрокинув с грохотом стул, выбежала в горницу, лишь платье мелькнуло, взметнувшись стрекозиными крыльями. Забравшись в темный шкаф под висающие на плечиках платья и рубахи, дала волюшку слезам, – чуть приглушаясь одеждой, из неплотно притворенных створок вынесся безудержный плач.

– Ну вот, видишь, до чего ребенка довел! – Ирина почти ненавидяще, коротко глянула на взъерошенного мужа. – Она и так, бедненькая, в школе выматывается, и дома никакого покоя. В классе все кому не лень дразнят – Дунькой обзывают, и тут не чище.

– Так что, совсем попуститься? – скандально прищурил глаз Иван. – Пусть растет как трава, да?

– Не так учат. Можно по-человечьи сказать, не психовать. А то ворчишь, ворчишь, – вылитый папаша.

– А ты моего отца не трогай! Он, может, получше нас с тобой был.

– Да уж куда там! Пил да гонял вас, как сидоровых коз. Жаловался, а сам теперь не чище своего папаша.

– А-а-а, надоело все, с тобой же бесполезно говорить!.. – Иван опять резко взмахнул рукой, отсекая от себя болезненно забурливший спор, чтобы не всплеснулся обычным кухонным скандалом, после которого спадал с глаз тихий, сонный туман, заголяя всю неразрешимую, оттого и бессмысленную, пустоту жизни, лежащей впереди, навроде голой, заснеженной степной дороги, ведущей в никуда, где ни деревца, ни кустика, ни приманчиво-желтого, живого огонька.

XIV

Обиженный теперь и на дочь, и на жену, и на судьбу, чувствуя мучительное и в то же время наслаждающее одиночество, Иван ушел в свой закуток, прозываемый кабинетом, открыл окошко в темнеющую степь, дрожками пальцами зажег папиросу и, благодаря Бога хоть за эту утеху, жадно закурил. Моросил невидимый в сумерках стылый дождь, до срока затянув степные увалы вечерним сумраком; и такими, в лад Иванову настроению, серыми и тоскливыми привиделись степные холмы, что хотелось плакать.

Когда была уже докурена и погашена папироса, когда страдальчески осветленным взглядом уже невидяще смотрел сквозь клубящийся, сырой морок, Иван вдруг, поразившись, испугавшись, ощутил себя своим отцом... Отец неожиданно, сам по себе, без Иванова усилия, полностью вошел в его суть словно в облюбованную им справу, которая теперь оказалась отцу впору,

в самый раз, – нигде не жала и не топорщилась, не провисала – плотно облекая тело. «Господи, да что за наваждение такое на мою голову грешную?!» – воскликнул Иван.

Он потер лоб отцовской, сухопарой, вечно подрагивающей ладонью и ощутил, что смотрит в отцветающее на ночь, чернеющее небо отцовским, ледянисто-синим, насмешливым взглядом, хотя глаза ему достались и не отцовские, иссиня, – материны, похожие на негусто заваренный чай; потом Иван учуял, что и рот его по-отцовски заузился, брезгливо скосился, будто на язык попало студеное, кислое, и он скошенным углом рта протяжно, с присвистом подсасывает воздух, морщась, обжигая десны, отчего приходится пережевывать его и, согревая во рту, глотать словно льдинки.

Вот так же отец подсасывал и мял в редкозубом рту февральский оттепельный воздух, когда маленький Ванюшка, которому он доверил вожжи, перепугавшись придорожного листвяка, загнал кобылу в снег по самое брюхо и чуть не переломал сани. Все было так же, как сейчас, и недаром, видно, жена попрекнула его отцом, когда он поучал Оксану, – вылитый папаша... А ведь сроду не чуял в себе ничего отцовского, потому что мало чего отцовского и принимал.

Иван за свои тридцать с гаком не раз обращался в других людей, заимевших над ним добрую или недобрую власть.

Помнится, в старших классах после азартно прочитанной книжки Грина про алые паруса, потом – увиденного фильма ощущал себя одиноким и печальным гордецом, которого ни одна деревенская душа понять не сможет... Из кино шел, отбившись от галдящих ребят, форсисто задрав воротник телогрейки, пропахшей коровьим назьмом... – нет, конечно, не телогрейки, зачиненной на локтях, а черного морского бушлата или плаща капитана, обветренного, как дикие скалы. Переступал порог своей избы, а тут мать:

– Иди-ка, парень, стайку почисти, – корова навалила...

– А чо всё я да я?! – капитан, обветренный, как скалы, запальчиво оправдывался, огрызаясь, и морская личина слетала золотушной коростой.

Сразу за детством по недоброму умыслу, по нащёпту или сглазу ехидной волхвитки, обращался Иван в людей, с коими болезненно схлестывала его жизнь; но обращения эти, слава Богу, выходили недолгими, с надсадным и мучительным сомнением, – чужая, недобрая суть втекала в Иванову душу уже с трудом, через крепнущую с годами запруду. Но это было потом, а в юности... Когда случалось обращение, рождалось крылистое чувство легкости, дозволенности и простоты жизни, потому что Иван в такую пору не отвечал за свою душу, даже и не чуял ее, огрузлую, маятную, беспрокло ищущую себе верного приюта; он игриво жил чужой душой, опекающей его и ничего близко к себе не принимающей. Жилось легко, как в беспохмельном хмелю. Но потом Иванова душа морщилась, сжималась, чтобы чужая, настырнее и мельче, какую пустил в свою душу, не хлябала, не болталась там, как шевяк в проруби, тревожа Иванову суть. Душа же чужая, конечно, и билась, и тревожила, не находя себе покоя и улежистого места, отчего и приходилось с грехом пополам освобождаться от куражливой и беспокойной гостии, вначале увеселившей, а потом пришедшейся не ко двору. Долго потом тлело в Иване едкое раскаянье, все шире и чернее выжигая его суть, но... к великому сожалению, в науку все это не шло и повторялось снова да ладом.

«Почему у меня смалу такая вялая, рыхлая душонка?! – мучал себя Иван, пережив очередное злое обращение. – Почему не ведаю всем сердцем, чем ее укрепить, чтобы туда не совались все, кому не лень, все, кто понаглей, понастырней?... А то будто в сказке про глупого зайца, у которого завелась избенка лубяная, да подлизалась, подмаслилась лиса, заочевала да самого же, дурака, и выперла взащей... Так можно и вовсе забыть, какая душа во мне смалу ютилась, какую Бог даровал... А какая же она была, Богом отпущенная?... Может, у меня уродилась душа, как у матери... жалостливая?... – спрашивал Иван неведомого, когда отлетали чары дымом сгоревшей змеиной кожи, и он уже не чуял себя кем-то, взявшим над его душой

зловещую колдовскую волю, но и себя полного, заправдашнего тоже пока не ощущал, – брел впотьмах по таежной чащобе, городя перед собой боязливо ждущие руки. – Жалостливая... Но откуда же это?»

Случалось это хоть и редко, а все же случалось и пугало зловещей и насмешливой волей от его рассудка; бывало голубем-сизарем слетал в душу желтоватый степной покой или синё играл, плескался озерный восторг, – хотелось, как в легком пасхальном хмелю, любить встречного-поперечного, жалеть дальнего и ближнего, – но вдруг, словно туча холодной тенью заволакивала солнышко, наперекор покою либо восторгу по неведомой воле вздымалось из темной и потайной Ивановой сути такое хлесткое, такое желанное зло, что становилось страшно самого себя. Бывало, давнишний, заветный друг, брат крестовый, ведал, как на духу, о своих душевных горестях, и смывался с его лица сумрак; Иван вначале жалел брата, но неожиданно стылый и насмешливый ветер разом смахивал жаль, и вместо нее стремительно вызревало зудящее желание ударить брата в очищенное страданием, бледное лицо, избить его в сладостной и беспамятной истерике, лишь бы не видеть!.. лишь бы не видеть осветленное пережитым, родное лицо... Но сразу же охватывал маятный стыд; Иван краснел, отводил глаза, а потом торопился уйти, остаться наедине с собой. И так было мучительно при воспоминании о случившемся том, что хоть глаза завяжи да в омут бежи.

Похожее случалось на могилах-жальниках и в церквях, куда в бестолковой юности словно в музей, вваливался среди праздной шатии-братии, увешанной камерами, куда приходил и зрелым, чтобы облегчить душу, изтерзанную грехом: лишь оттеплит, бывало, душа, станет наливаться тихим, ласковым светом, будто окно, зарумяненное утренней зарей, лишь проснется в душе певучее ликование, когда любишь всех беспечно, как тут же и неведомая окаянная воля силком поведет глаза и выведет на ладную деваху с кобыльими стегнами, облитыми черным либо телесным капроном, и грубое, особо срамное в святом месте, но тем и изощренно услаждающее желание окатит вдруг влажным зноем, в котором сразу же сморится, увянет народившееся в тебе ласковое сияние, пожухнет и осыплется горячим пеплом... Если даже Иван и не давал воли грешным помыслам, так разве ж от того было легче, коль помыслы бродили в нем пьяной брагой, и люди с ясным и пристальным духом чуяли их, настораживались, тихо отходили.

С летами и сивыми прядями в бороде Иван реже терзался эдакими срывами, как реже ощущал и окайные подмены, для чего сильнее приваживался к одиночеству, когда с болезненной, собачьей чуткостью вслушивался во всякий шорох, похожий на потрескивание сохнувшего березового листа, во всякий вздох, напоминающий вздохи осенней земли, отходящей ко сну, во всякие притаенные, неясные голоса, и все это – шорохи, вздохи, голоса, – блазнилось ему, исходило из самой души, отчего он и пробовал угадать их, а угадав, как бы вспомнить, потом оживить себя заправдашнего, непридуманного и неподменного, такого, каким был загадан сызмала, каким его растили мать с отцом; но сколь ни вслушивался, сколь ни думал, так и не мог вспомнить себя изначального, яко ангела, не тронутого грехами смертными.

* * *

Но как вошел в его суть и отец – так и хотелось воскликнуть: как посмел?! – если уже схоронили его, если последние пять лет перед его гибелью они и виделись-то годом да родом, мельком и отчужденно, если смалу и по теперешние морщины, свинцовые мешки под глазами никогда Ивану не хотелось походить на отца. Пил да гонял ребят... Но, отжив от детства лет пятнадцать, чаще и чаще, как в этот осенний вечер, стал ощущать в себе отца.

«Неужели во мне просыпается дремавшее отцовское?» – усмехнулся Иван, все так же глядя в отпотелое окошко, за которым сеял и клубился едва видный в сумерках, мелкий дождь, заливая колдобины, рытвины на размягшей, грязной дороге, наполняя серой скукой Иванову

душу. Он не заметил, как глаза, уставленные в густеющий морок, отсырели слезами, заволоклось призрачной пеленой, но вдруг ясно узрелось: плетутся на сморенной кобыленке сквозь снежный буран два одиноких человека, отец и сын, а степная метель, то вздымаясь, то прилегая, охлестывая ковыль на буераках и кочках, протяжно, с подсвистом и подвывом поет:

И набравшись сил, чуя смертный час,
Он товарищу отдавал наказ:
Ты, товарищ мой, не попомни зла,
Здесь, в степи глухой, схорони меня...

Иван не сразу и заметил, что поет...

XV

Очнувшись от песни, словно проснувшись после горького сна, где он был так одинок и покинут, Иван отошел от окна, возле которого мог вечно сидеть, глядя на степные холмы, колышущиеся знойным июньским миражом, слепяще-зеленые на летнем перевале и поседевшие инеем в октябре, а после Покрова Богородицы укрытые снегами. Он присел за стол, открыл Библию наобум, но потом по неведомому зову улистал до тринадцатой главы «Первого послания к коринфянам святого апостола Павла» и прочитал: «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я – медь звенящая, или кимвал звучащий... Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине; все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, языки умолкнут, и знание упразднится...»

Строки мерцали в глазах, расплывались, словно в Библию капали слезы, размывая слова; ничего не шло на ум, но с раскаяньем помянулась ссора с дочерью... Поколебавшись, одолев гордыню, Иван из закутка с видом на сиротское картофельное поле и степь, что пышно величался его кабинетом, прошел в горницу, стал мягко, бесшумно расхаживать по мшистой ковровой дорожке, стараясь будто ненароком сунуться взглядом в полуприкрытые створки платяного шкафа, где давала волю слезам обиженная дочь. В узенькую щелку, да к тому же издали, ничего не мог высмотреть и тогда, без терпеху, подкрался на цыпочках, заглянул в шкаф и даже попробовал оторвать створки пошире, но они были связаны изнутри не то Ивановым галстуком, не то пояском от материнского халата. Заглянул и замер, даже удивленно отпрянул; глаза его вначале удивленно округлились, потом непутно заморгали; рот, еще недавно сведенный злой сухотой, размягчился, и губы колыхнула виноватая, смущенная улыбка.

Дочь, уже позабывшая обиду и слезы, укладывала ночевать Федю, толстопузенького пупса, и давнишних куклешек, похожих на девок-перестарок, с застиранными глазами и расшинуванными, полувылезшими, как у старушенок, стружчатыми кудерьками. Сидя под висящими на плечиках платьями и рубашками, нарошечная мама разоблакала чадущек, снимала с них пестренькие платишки, юбочки, рубашонки, штанишечки, шитые саморучно, так-сяк, наперекосяк, кривыми стежками. Последним, раздев, уложила спать Федю, у которого намалевала глаза чернильным химическим карандашом, смачивая его во рту. Убаюкивая пупса, дочь любовно ворчала голосом матери и похоже пела:

Баю, баю – не шуметь,
Вышел из лесу медведь,
Он несет малину нам,
Ребятёшкам маминим.

Топай, мишка, пряменька,
Принеси нам пряника,
Принеси нам каравай,
Баю, баю, баю, бай,
Глазки, Федя, закрывай.

– Опять у меня не спишь, фулиган такой!.. Я кому говорю, но-ка, счас же закрой глаза! И спи. Ишь, раздурелся... А то дождешься у меня, – ремень-то, вот он, – Оксана потрясла ремешком, что торчал из отцовских брюк, висящих на плечиках, и снова да ладом потянула колыбельную.

Котя, котенька, коток,
Котя-серенький бочок,
Приди, Котя, ночевать,
Нашво Феденьку качать...

– Опять не спишь, ушами шевелишь!.. Ну, тогда вот тебе!.. вот! – и Оксана пальчиком, нежно нашлапала по крохотной пупсовой заднюшке, но тут же спохватилась и, прижимая дитятко к щеке, стала всего оглаживать, утешать. – Ладно, не плачь, не плачь, ладушка-оладушка... Ты же у нас послушный, да?

– Да, – ответил Иван за пупса, и дочь вскинула на отца настороженные глаза, и тогда он, отводя взгляд, пошел городить что попало, лишь истаяла в дочерних глазах настороженность. – Этот Федя... съел медведя... ой, Оксана, балованный растет. Ты в школу убежала, а я прилег вздремнуть, так разве ж он даст?! Бегаёт, ногами стучит, орет как оглашенный. Мертвого разбудит...

Пупс Федя приносил Краснобаевым уйму хлопот, – вечно блудил по дому, засыпая то под столом, то под Оксаниной койкой, а то и домовушко шатуна так спрячет, что и при солнушке с лучиной не найдешь; и тогда в ночь-полночь искали потерю всей семьей, потому что без Феди Оксана не засыпала.

Раньше дочь с веселым азартом подхватывала отцову баешную игру, но сейчас потупила опечаленные глаза и молчала.

XVI

Поздним вечером Иван заглянул в Оксанину спальню, где дочь, уложив Федю на подушку, весело распевала:

Два пупсика гуляли,
В Таврическом саду,
И шляпу потеряли,
В двенадцатом часу.
И шел какой-то дядька,
И шляпу подобрал,
А пупсики кричали:
«Украл!.. украл!.. украл!..»

Иван присел на краешек койки и, снова одолев гордыню, виновато вздохнул, погладил дочь по взъерошенным волосам. Оксана снизу вверх пытливо заглянула в самую глубь отцовых глаз и прошептала сквозь слезы, прикусывая дрожащие губы:

– Папочка, ты не сердись на меня, ладно? Я больше ничего раздавать не буду... Не обижайся...

– Ладно, ладно, спи... Я не обижаюсь, наоборот... – он не смог досказать, повиниться и, опустил глаза к полу, стал разглаживать и расправлять одеяло вздрагивающей ладонью, которую дочь тут же ухватила и прижала к глазам, чтобы отец не видел слез.

Иван хотел пожалеть дочь, успокоить, но у самого горла перехватила колкая сухость, сердце сжалось, зашершавело. Он прокашлялся и, глядя в стемневшее окошко, досказал:

– Я наоборот... Но и ты на меня не обижайся... Ты можешь раздавать подружкам все, что хочешь. Но если иногда спросишь у нас с матерью, тоже не лишнее. Мы же тебя худому не научим...

– Пап, а ты Петьку на двор не будешь выкидывать? – это Оксана защищала приبلудившего ноняшней осенью щенка, заматеревшего... в низкорослую, мохнатую дворняжку.

– Доченька, он же дворовый пес, не комнатный.

– Ему же холодно во дворе.

– Мы его к теплу приучим с осени, знаешь как он будет зимой страдать на морозе. А ему надо двор сторожить... Помнишь, ты его на Рождество в избу пустила, как он потом в тепло рвался, всю дверь на веранде изгрыз...

– Ну и пусть дома живет.

– Петька – дворовая собака, и не надо его портить... Ну, ладно, сказочку прочитаю и спи...

Иван пошел в свой куток за книжкой, но у порога обернулся... и оторопел: Оксанино одеялко вдвинулось комом, зашевелилось, ожило, и тут же высунулась хитроватая Петькина мордочка. Видимо, пока Иван сидел на дочериной койке, пес тайлся под одеялом у Оксаны в ногах, а как хозяин пошел вон, решил выбраться из пододеяльной духоты, глотнуть свежего духа.

– М-м-м... – промычал Иван, будто зубы свербило. – Ну, это уж, Оксана, ни в какие ворота... Ты пошто в постель-то его пустила?! Он же везде шарится. Притащит заразу...

Опять стало копиться раздражение, но припомнил, каким макарончиком явился Петька в дом, и невольная улыбка размягчила сохнувшие в досаде губы.

XVII

Промозглым вечером... зябкая осенняя земля отходила к зимнему сну... в жильё Ивана Краснобаева явился домовый, домовушечко, ласково сказать.

Ирина, ушомкавшись за день, уже почивала, доглядывала десятый сон, а Иван, деревенскими сказками, с горем пополам уgomонив малую дочь Оксану, потушил свет, задремал... И вдруг послышался писк не писк, плач не плач, – прерывистый, жалобный скулеж, что сочился в избяную тишь то ли сквозь разошедшие половицы, то ли сквозь стены, то ли с потолка. Писк, похожий на занудную капель из ржавого рукомойника, вдруг пропадал, и хозяин томительно ждал его, уставившись в пустоту; и писк опять нарождался, потом снова замирал.

Надо вставать, но лень поперёд родилась; неохота вылезать из нагретой, улежистой постели, да и сон, худо привечавший Ивана, мало-помалу все же сморил, и жалко рушить полубабение, желанное и маятно выжданное. Со сном у Ивана беда-бедушка: вроде уже сморился и чудится доткнешься до подушки и провалишься в забытие; ан нет, прилег, и полезли в голову, цепляясь одна за другую, вязкие думы, и вот уже сна ни в одном глазу. А голова тяжёлая, пустая... Запалишь ночник и, напялив дальнзоркие очки, отпахнешь наобум лазаря книжку снотворную – так он величал незатейливое чтиво, потому что умную не осилишь квелим разумом – бессмысленно учишаешься с полстраницы, и сомлевшие глаза сами укроются;

засыпаешь с очками на носу и книжкой в руках, да так бы и спать; нет, кинешь на стол очки и книжку, погасишь свет, закроешь глаза... и тут же пчелами зароились думы, а сон улетучился.

Нет, надо заставить себя уснуть, а то придется потом неприкаянно слоняться из угла в угол, высматривать, когда окошки рассветно поглубеют, и плестись в редакцию с опухшими, красными глазами, пепельным лицом и болью в висках. И там с пустой, сонной, будто похмельной головой вымучивать статейки про коровьи надои и бычьи привесы.

Надолго стихая, писк не пропадал совсем, и нужно было что-то делать. А коль шевелиться не хотелось, то Иван поворчал да и укрылся с головой, чтобы не слышать въедливый скулеж. Еще надеялся уснуть, пока сон похаживал близко, пока можно было заманить его в постель... И призабылся вроде... в наплывающих цветных видениях ожили мать, отец, брат Илья, коих поминал перед сном, но тут же почувал, что кто-то назайливо теребит за плечо. Промычал от досады, тяжело обернулся, догадавшись, конечно, кто его ворошит, и увидел в бледном, реющем свете, что возле кровати постаивает испуганная Оксана. В ночной, белой и мешковатой рубахе до пят, прижимая к себе старую куклешку, дочь боязливо таращилась в темный запечный угол, при этом вся дрожала, как сухой осиновый лист на ветру.

– Пап... а пап, кто-то пищит и пищит... – шептала она, задыхаясь, косясь обмершими глазами в запечный куток.

– Я уж думал, ты спишь давно, а ты все шарошишься, полуночница, – прошипел Иван в сердцах. – От тоже наказание, а!

– Пап, а может, это домовой... домовушечко плачет? – шептала Оксана.

– О, Господи ты мой! – простонал Иван. – Еще не чище! Это же сказки... суеверия... Нет, всё! Больше я тебе сказок на ночь не читаю.... Домовой... Сама ты домовушечко, – смягчился отец. – Ты вот что, девушка, иди-ка спать.

– Ага, спать. Домовушечко плачет, а я буду спать, – Оксана заплакала, шмыгая отсыревшим носом. – Вам дак хорошо вдвоем спать, а мне одной страшно.

– А кукла тебе на что?! Там у тебя и пупс Петруха...

– Пап, а может, это котенок пищит? Может, замерз, в тепло просится.

– Ну, пищит да пищит. Тебе-то какое дело?! Попищит да перестанет. Может... – он хотел добавить: может, крысы шныряют в подполе, но не стал пугать и без того боязливую дочь. – Может, ветер ставнями скрипит... Ветер не ветер, утром разберемся. А сейчас добрые люди давно-о уже спят. И ты иди спи, не маячь тут. А то утром опять с ревом в детский сад поднимать.

– А может, котенок замерзает, – не унималась дочь.

– О-о-о!.. – схватился Иван за голову. – То котенок ей слышится, то поросенок, то домовёнок! Надоело!.. Как ночь, так и начинается нервотрепка... Все понятно с тобой, дорогуша, – не хочешь одна спать. К матери под бок метишь. Большая уже, невеста, а все бы с мамкой спала. Может, тебе еще и титю?... Ты пошто одна-то боишься спать?! Мне лет шесть было, как тебе сейчас, я один спал на чердаке, на могилки впотьмах ходил, – невольно приврал Иван. – На спор, конечно... И никакой холеры не боялся. А ты боишься спать без матери.

Тут, легка на помине, проснулась и мать.

– Мам, мам!.. – заверещала дочь. – У нас кто-то пищит, плачет. Может, домовушечко?

– Домовушечко?... – потряхивая сонной головой, переспросила мать.

– Ага. Пищит и пищит.

– Ладно, иди, моя бравая, – мать позвала Оксану, и та привычно нырнула под одеяло, лишь сверкнули из-под белой рубахи крохотные пятки. Умопившись меж отцом и матерью, из глубины умятой подушки высунула любопытный, острый носик.

– Пап, но посмотри, кто это пищит в избе?

– Отец, сходи на кухню, глянь, чего там, – поддержала Ирина дочь.

Иван еще побурчал и, кряхтя, вылез из постели, опустил голые ноги на холодные половицы.

XVIII

Вхолостую исходив избу, слыша все тот же проклятый писк, Иван сунулся за дверь, оглядел с фонариком и сени, и казенку, и даже ограду с палисадником. Ничего не обнаружив, раздраженный вернулся в избу.

– Но, елки-мotalки, уже ночь-полночь, а мы все не спим!.. И что это за бома²⁴ пищит?

– А по-моему, из-под пола доносится, – вслух подумала Ирина. – Надо, отец, в подполье глянуть.

– Вот сама и гляди, а мне уже надоело все, – махнул рукой Иван, устраиваясь спать в детскую кроватку, поджимая ноги и гадая, что лучше укрыть коротеньким одеяльцем, – ноги или голову.

– Отец!.. ну, посмотри.

– О господи!.. – выругался про себя Иван, но все же опять поднялся и, прислушиваясь к писку, по его тоненькой, незримой ниточке подошел к подпольнице.

И лишь открыл подпольницу – тяжелую крышку с ввинченным в нее кольцом, – так сразу и увидел темно-бурый, пушистый колобок, который хлипко поскуливал, скребся по картофельной горке, взблескивая черными бусинками глаз. Живой и осмысленный взор неведомого, бесформенного дива встретился с Ивановым взглядом... Испуганно отшатнувшись, знобко передернувшись, Иван невольно перекрестился про себя. Потом, осилив мимолетный, знобящий страх, опять сунулся взглядом в подполье и лишь тогда признал в лохматом диве скулящего щенка.

Картошка, с полмесяца назад горкой засыпанная в подполье, толком не просохла, и диво, настырно ползущие на вершину, скользило, сползало к изножью, потом снова, обиженно скуля, скреблось по сырой и студеной картохе вверх, к манящему и сытному избуному теплу.

– Подите сюда! – весело позвал Иван домочадцев. – Нашел я домовушечку.

Когда в припахивающую картофельной гнилью, земной плесенью, промозглую темь подполья хлынул слепящий свет, когда дохнуло запашистым, жилым духом и послышались людские голоса, голодный-холодный щенок стал отчаянней скрестись вверх и пищал теперь без передыху, закатываясь в плаче словно брошенное матерью грудное дитя. Иван выудил пискуна из подполья, усадил на пол, где щенок сразу же пустил из-под себя парящую лужицу.

– Не пискун ты, а писун, – ухмыльнулся Иван, погладив щенка.

Тут из горницы прилетела Оксана, подивилась, схватила щенка с пола, и такое у них пошло целованье-милованье, словно кровные брат и сестра обнялись после долгой разлуки. Чокая шлепанцами, явилась на шум и заспанная Ирина; глядя умиленно на щенка с дочерью, приобняв мужа, вдруг грустно вдохнула:

– Скучает... – и весело прибавила. – Надо ей сестрицу покупать.

– А может, лучше братца купим? Подмога по хозяйству. Да и наследник. Девки – чужой товар.

– Ой, мама, папа!.. – услышала дочь про будущие покупки. – Купите мне сестричку.

– Сестричку-лисичку?.. – отозвался Иван и с грустью прикинул, что дети им сейчас не ко времени, потому что надумали кочевать в Иркутск, где их никто не ждет с распростертыми объятиями, с хлебом-солью, и неведомо еще в каком углу приютятся. – Легко сказать, купите... Дороговато стоит, доченька. А у нас денег кот наплакал.

²⁴ Бома – нечистый.

– Ага, вон диван купили, шкаф купили, а на сестренку денег нету. У дяди Паши Семкина займите, – помянула дочь бедалажного соседа, детского дружка отца. – У него полно денег, – уже трех девочек купил, теперь мальчика поехал брать.

– Ну, разве что у дяди Паши занять, – рассудил Иван.

– Ладно, доча, купим тебе братика либо сестрицу, – посулилась мать.

– Что уж в продаже будет, – рассудил Иван. – Да и по деньгам нашим...

– Вон, папина мама, баба Ксюша, с дедой Петей бедно жили, а восьмерых купили.

– Тогда ребятишки дешево стоили.

– Купим, доча, купим, – заверила мать, игриво глянув на Ивана. – Купим, отец?

– Ура-а-а! – завопила дочь и так стиснула щенка, что тот жалобно пискнул.

* * *

Угомонились далеко за полночь. Сперва гадали, как домовушечко в подполье очутился; тут Иван смекнул, что щенок заполз туда через отдушину, которая с улицы была прорезана низко-низко, возле самой земли. А ведь со дня на день ладилися забить отдушину березовым чурбачком, проконопатить мхом и перед Покровом Богородицы обмазать сырой глиной, чтобы загнать в подполье тепло, чтобы в крещенскую стужу не поморозить картошку. Догадавшись, как щенок забрался в подполье, поочередно нежили, миловали бурого пискуна-писуна; пытались кормить его вечерошней пшенной кашей, но щенок наотрез отказался. Тогда, уложив домовушечку в плетеную тальниковую корзину на Оксанино кукольное тряпье, семья легла досыпать.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.